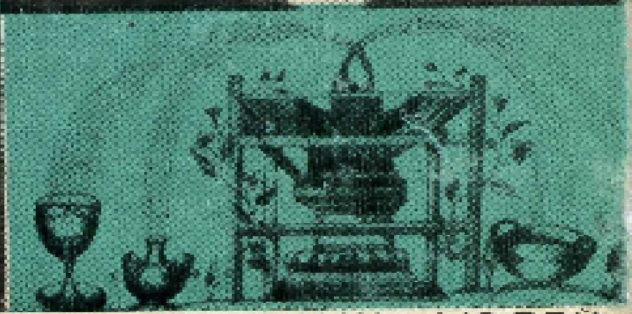
СКОВОРОДА

Юрий Лощиц



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ю́рий Миха́йлович Ло́щиц (р. 1938) — русский поэт, прозаик, публицист, литературовед. Лощиц является одним из видных современных историков и биографов. Г. Сковорода — один из первых в истории Украинской мысли выступил против церковной схоластики и призвал к поискам человеческого счастья.

- Григорий Сковорода
  - В ДОЛИНЕ
  - АКАДЕМИЯ
  - НА ХОРАХ
  - ХОЖДЕНИЕ
  - ПЕРЕД ВЫБОРОМ
  - ПОЭТ
  - В КОЛЛЕГИУМЕ
  - УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
  - НАЧАЛЬНАЯ ДВЕРЬ
  - ХАРЬКОВСКИЕ ПОБАСЕНКИ
  - СЛОБОЖАНЩИНА
  - У ДРЕВНИХ СТЕН
  - МЫСЛИТЕЛЬ
    - «Везде видеть двое…»
    - «Внемли себе»
    - «Закон сродностей»
    - «Истина безначальна»
    - «О символах или образах»
  - СТАРЧИК
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  - Основные даты жизни и творчества Г. С. Сковороды
  - Краткая библиография

Григорий Сковорода

В ДОЛИНЕ

На Украине землепашец издавна устраивал сеже жилье в местах сокровенных, закрытых от ветров, от чужого глаза. Несведущий человек может долго идти или ехать степью в полной уверенности, что она безлюдна. Село объявляется неожиданно и гораздо ниже той черты, где предполагаешь его увидеть. Белые хатки лепятся у подошв черноземных кряжей, вдоль сухих земляных русл — балок. Почва тут будто из вдохов и выдохов, и где выдох, там долина, село, окруженное высоким вздыбленным горизонтом. Эти линии подъемов и скатов так напряжены, так рельефны, что иногда кажется: здесь сама земля думает — дугами и лбами застывших над долиною холмов; и непонятно лишь, о чем ее медлительная дума: о былом? о небывалом?

Село тянется к долине, к зеленому долу еще и потому, что внизу обязательно речка петляет или дремлет, приткнувшись к гребле, пруд-ставок, и, значит, есть возможность белым хатам поглядеться в это природное зеркало.

Впрочем, в Чернухах не пруд, а река; когда-то на ней стояло множество водяных мельниц, теперь же нет ни одной, и о давних временах напомнит разве лишь силуэт деревянного ветряка, в бездействии замершего над селом там, где кончается земля и начинается небо.

В XVIII столетии Чернухи были сотенным селом Лубенского полка и состояли из нескольких поселений хуторского типа, каждое со своим именем: Сухоносовка, Ковали, Бондари, Харсики, Нехрыстивка.

Обитатели нынешних Чернух до сих пор не решили окончательно (похоже, это и вообще решить уже нельзя), где точно стояла усадьба Саввы Сковороды и жены его Пелагеи, у которых в ночь на 3 декабря 1722 года родился сын Григорий.

Скорее всего произошло это событие в Харсиках. Во первых, в Харсиках еще до недавнего времени обитали люди с фамилией Сковорода. Во вторых, если верно сведение двух ранних биографов философа, что отец его был священником, то и тогда Харсики подходят более других хуторов, потому что как раз в Харсиках находился земельный надел, который по традиции предоставляли в Чернухах лицам духовного звания.

Правда, автор самой ранней биографии (и единственной, о которой можно говорить, что это есть биография Сковороды в полном смысле слова), Михаил Ковалинский, сообщает, что Григорий родился в семье малоземельного казака. Сам Григорий

Саввич ни в одном из своих сочинений, дошедших до нас, не приводит подробностей о своем социальном происхождении. Свидетельству же Ковалинского нет оснований не доверить: он знал о Сковороде гораздо более, чем кто-либо иной из современников философа, будучи любимейшим учеником, духовным восприемником и самым близким другом Григория Саввича. Об их отношениях немало будет сказано дальше, а пока необходимо упомянуть и еще одного биографа — это харьковский литератор начала XIX века Гесс де Кальве (выходец из Австро-Венгрии), краткий очерк которого о Сковороде, хотя и не может ни в коей мере равняться по значению с трудом Ковалинского, содержит в себе, однако, несколько сведений, не упоминаемых учеником философа. От Гесса де Кальве в первую очередь и исходит утверждение о том, что отец Григория был сельским священником.

Впрочем, есть, в этом вопросе и еще одна деталь, характеризующая особенности сельского быта Украины начала XVIII века: Сковорода-старший мог быть священником из казаков. В сельских приходах в это время чин священника еще оставался выборным, а значит, стать во главе церковного причта мог, при необходимости, и простой казак, если был грамотен и пользовался доверием односельчан.

Как бы там ни было, но уж в любом случае хата Сковороды-отца не стояла без казацкого сволока, и малыш, еще в колыске лежа, которая как раз и подвешивалась к сволоку, мог с утра и до вечера разглядывать затейливую буквенную вязь — ею испещрена была вся нижняя поверхность темной балки.

Без сволока из мореного дуба тогда ни одно жилье не ставилось. Осевая эта балка выполняла не только конструктивную задачу — служить опорой потолка, она была и символической опорой всего дома, всей семьи, всего жизненного уклада. Ибо что в тогдашнем бурном быту казачества могло быть надежней, чем этот узловатый, железной прочности брус с вырезанной на нем молитвой и именем деда, а то и прадеда. Давно уж нет в живых того, кто поставил хату и увенчал ее потолок сволоком, давно его где-нибудь в степи ковыли оплакали и ветры отпели, да и хаты той уже нет — развалилась от ветхости в безвременье. Но сволок уцелел. Сын или внук, ставя на руинах новые стены, извлекут его из праха. расчистят борозды надписи и как домашнюю святыню поднимут, водрузят на традиционное место, чтобы деды благословили новое жилье и широкими казацкими плечами подперли светлые потолки.

И малыш, барахтаясь в люльке, неотрывно пялится на буквенные знаки, тянется к ним ручонками. Уж не грамотей ли из

него вырастет?

Так родители во все времена с ревнивой и суеверной усмешкой поглядывают за неразумным, «безглуздым» дитятей: на что оно глазеет, за что ручками цепляется. Глядишь, и выкажет в каком-нибудь неуклюжем, смешном жесте свой норов и будущие пристрастия.

«Смотри, когда мальчик, зделав для игрушки воловый ярем, налагает оной щепкам или котикам — не сия ли есть тень хлебопашеския в нем души? И не позыв ли к земледеланию?.. Если припоясует саблю, — не аппетит ли к воинствованию?

Когда трилетний отрок самовольною наслышкою перенимает божественный песни, любит заглядать в священныя книги, перекидать листы, смотреть то на таинственных образов картинки, то на буквы, — не сие ли обличает тайную искру природы, родившия и зовущия его в упражнение богословское?»

Эти наблюдения принадлежат пожилому уже и мудрому человеку, который сам, однако, не стал ни хлебопашцем, ни воином, а стал странствующим собирателем жизненного и в первую очередь духовного опыта, проповедником совершенной жизни.

Могли ли его родители, стоя у детской люльки, догадываться о том, кем он станет? Да откуда! Они и словто таких диковинных от роду не слыхивали, какие об их сыне были сказаны потом, в самые разные времена и в великом избытке. А если бы чудом и услышали, то уж, конечно бы, огорчились страшно: кем же все-таки стал их сын, их дитя любимое, что о нем все вокруг говорят такие странные, темные и, главное, разные слова?!

Говорили же о нем действительно самое разное, настолько иногда разное, что не верится: неужели это все — об одном человеке?

…я решаюсь назвать его русским Сократом…

…стоик-философ и Харьковский Диоген…

…меня поразило его духовное родство со Спинозой…

…тайным отцом славянофильства был Сковорода…

…один из первых в России крестьянских демократов…

…мнимо народный философ…

…первый философ на Руси в точном смысле слова…

…апостол рационализма…

…погрузился в мрачную бездну мистицизма…

…мистик рационалистический, если можно так выразиться…

…он не верил в мистически потусторонний мир…

…истинный сын рационалистического века Просвещения…

Можно было бы без труда продолжить реестр этих довольно противоречивых характеристик, но, кажется, и приведенного достаточно, чтобы прийти в некоторое замешательство.

Право, что это за философский Протей народился однажды в Чернухах, чтобы стольким людям представляться в несходных обличьях? И неужели вообще мог когда- либо родиться человек, который был бы одновременно и тем, и другим, и третьим, и четвертым, и так… до бесконечности?

Но мы утешимся пока — мальчик в селе Чернухи родился без изъяна. И на будущее утешимся — вырастет из него человек цельный в каждом слове, в каждом поступке открытый и ясный, нужно только будет повнимательней присмотреться к нему, а это ведь труд — отделять кажущееся от действительного.

…Есть у неба край — особенно вечером это видно. Вот уходит солнце за гору, медлит, вздрагивает, ушло. И тогда, подсвеченный сбоку, он делается каждому виден — стеклянный теплый купол, покоящийся над обитаемой долиной.

На этой, уже тенистой стороне села и на противоположной, за рекой, где по склону тоже разбросаны хаты, сейчас розовые, и там и здесь вдруг на минуту становится совсем тихо. И, будто очнувшись и шелестя, как маятник, описал под колоколом свою привычную дугу медный язык первый звук проплыл вдоль села. За ним, по торопись, и другие; и когда, наконец, замерли, было слышно, как они, промерив все привычное пространство, кольцами сошлись там, вверху, под самым сводом, свернулись в шелестящий кокон, сжались в незримую точку. Ведь звук не может исчезнуть просто так. Где-то он снопа собирается и хранится до времени.

Есть у неба край! Стеклянный жарко струящийся купол бережно опущен над долиной, и опорой ему служат вершины увалов — туда, говорят, бабы носят сушить на небе рядна.

Там широко дуют ветры, и деревянные мельницы машут руками, прощаясь с солнцем. А попрощавшись, замирают насупленно, как сторожа при крае неба.

Откуда-то оттуда каждый вечер в клубах пыли стекает вниз по дороге стадо. Вся улица дышит шумно, трещат плетни, долго висит в воздухе теплый дух молока, запах коровьего и овечьего пота.

Оттуда же на арбах, запряженных волами, возвращаются на свои дворы: кто с целою горою пшеничных снопов, кто с душистым грузом конопляника.

Сизый кизячный дым пластом повисает над рекой, над садами. Летом приготовляют еду на улице и здесь же, вблизи белых печей, вечеряют. Тихий говор усталых людей слышен за плетнями, за кустами желтой акации. Вот и вечер заметно померк. Выросло в глубину небо, черным сделался крест ближнего ветряка, шепоток прошуршал в старых вишнях.

Но и теперь верится: наберись только смелости, вскарабкайся на гору, мимо дворов с чужими псами, мимо колючих кустов шипицы, и почти сразу окажешься возле него — возле края неба.

И дотронешься до теплого еще, тонкого и прозрачного стекла, за которым уж невероятно что… То есть там, наверное, и нету совсем ничего, лишь громадный, покрытый смуглым пепельным налетом шар, и вокруг него — пустота. Он помигивает, потрескивает, остывает, как груда углей в печи…

— А ну, сынку, спать, — зовут в хату.

И странно! — эта вечная детская уверенность, что у неба должен быть край, вовсе почему-то не исчезает в тот день, когда он туда поднимется и обнаружит, что на горе, за леском и за мельницей нет никакой пропасти. Там поля, леса, новые подъемы и спады земли. Разочарование недолго владеет ребенком: ну что же, значит, край на самом деле где-то гораздо дальше. Но он непременно есть, и можно до него дойти когда-нибудь.

Зато здесь, где его больше нету, происходит знакомство с ветряком. В темном и седом нутре мельницы все ходит ходуном. Летят, прогибаясь на весу, ремни, ерзают каменные круги, мука малыми горстьми выплескивается из желоба. Смотреть можно долго-долго, пока, наконец, не покажется, что вся эта непонятная, напряженно дрожащая махина работает сама по себе и — страшно подумать! — всегда вот так тряслась и плевалась белым и всегда еще будет.

Но потом в седой полумгле что-то закопошится и рыкнет, и спрыгнет, и пронесется мимо, чуть не сшибив зеваку, — какое-то существо, все мучнисто-белое, как огромная сова, — белые брови и ресницы, белые усы и даже волосы на громадных кулаках

белые. И загрохочет каблуками по скриплой лестнице, на что-то там нажмет, изогнувшись и крякнув… И будто закашлялась махина: ремни безвольно захлопают, жернова застынут, давая разглядеть каждую щербинку на своих шершавых боках. Последняя струйка муки соскальзывает по желобу…

Было ли у него детство или была только эта невнятная память о нем, невнятная и светлая? Так ведь и у каждого из нас детства, по сути, нет, потому что, когда мы пребываем в нем, то не осознаем его и не оцениваем его как детство, как особый возраст. Мы бездумно купаемся в нем, в его материнской млечной влаге, не подозревая о неминуемом исходе. Как лишь детство поддалось осознанию, оно уже не детство. Вот отчего каждому из нас рано или поздно дано почувствовать себя изгнанником из неотцветающего сада.

Детство дано нам только в памяти и на той ее глубине, где очертания отдельных предметов и событий уже настолько расплылись, что каждый из нас не решится точно сказать: нот мое, а вот твое. Почти все там — наше общее, и мы припадаем к нему, даже не сознавая тою, как к общему достоянию, и это нас роднит.

Может быть, из этого вот опыта нам и открывается отчетливей всего, что, несмотря на нашу очевидную и иногда почти вопиющую разность, все мы, и современники, и люди, отдаленные друг от друга столетиями и столетиями, горами и океанами, прошлым и будущим, — все мы и конце концом, и идеальном своем образе есть некое единое лицо, одними человек, не чуждый и не враждебный каждому из нас, надежный, целокупный, всех и вся в себя способный вместить, бесконечно совершенный и щедрый.

Должно быть, и он пел эту колядку?

Я маленький пахомик,
родівся у вівторок,
в середу рано
мене в школу віддали,
книги читати,
Христа величати,
а вас с праздником поздоровляти.

Праздник-то праздником, но как страшно это — стоять под чужими окнами, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь никак первый раз в жизни пропеть. А вдруг засмеют или обругают, или собаку спустят с цепи?

Но вот скрипит дверь, на пороге появляется хозяйка, к и руке

у нее коржик, присыпанный маком. Маленький певец уложит подарок в торбу и, поскрипывая рождественским снежком, идет к соседней хате. И там снова ноет, теперь уже более уверенно.

И везде, как бы ни были бедны хозяева, а что-нибудь им несут: кусок пирога, яблоко, сохраненное с осени, а то и кружок домашней колбасы. В ином месте, глядишь, и хату зазовут, усадят за стол, нальют полную тарелку темною меду с сотами и ложку дадут — ешь сколько можешь, наедайся сладкого на всю жизнь. Ведь никто не знает какая она выйдет жизнь, одному богу известно. Потому и балуют хозяева маленького рождественского гостя, потому и смотрят на него со смешанным чувством умиления и тревоги: не дай ему, господь, под старость нее с той же сумой ходить да у чужих окон Лазаря петь!

Но пока выходило у него точно по колядке: во вторник родился, а в среду с утра в школу повели.

В школе, судя по словам Ковалинского, тоже выходило у маленького Сковороды совсем неплохо: «Григорий по седьмому году от рождения приметен был склонностию к богочтению, дарованием к музыке, охотою к наукам и твердостию духа».

Конечно, этому скупому свидетельству очень не хватает живых деталей; оно, как мы видим, выдержано в стиле «житийного» общего места. Но поскольку иных свидетельств о ранних ученических годах Григория мы не имеем, то остается ограничиться этим, дополнив его несколькими типичными штрихами из сельского школьного быта Украины начала XVIII века.

Приходская школа скорее всего размещалась в какой-нибудь невзрачной хатке вблизи церкви. Единственным учителем в ней был, надо полагать, местным дьяк. Если же по каким либо причинам вакансия наставника оказывалась свободной, то ее мог занять дьяк *мандривный*, или, как тогда еще говорили, мандрованный, то есть странствующий. В этой роли, как правило, подвизались недоучившиеся киевские бурсаки или недавние выпускники таких же вот сельских школок, выведавшие у собственного дьяка все секреты педагогического ремесла. Секреты состояли в знакомстве с текстами богослужебных книг (начиная с псалтыри и часослова), в знании церковных распевов на восемь гласов, а также в умении самостоятельно сочинять и исполнять мелодии к тем или иным псалмам и ирмосам; такое исполнение называлось самогласным. Дьяк дьяку рознь, и, конечно, у странствующего учителя, человека свежего и бывалого, запас познаний и сведений оказывался, как правило, гораздо больше, чем у местного, оседлого, а потому и косного наставника. Начиная хотя бы с того, что захожий учитель решительно менял

детские представления о протяженности мира, о «крае» света, обликом своим, и привычками, и умением говорить на диковинных языках отодвигая этот край в совсем уже головокружительную даль.

Ведь он прибыл не из какого-нибудь Пирятина и не из каких-нибудь Лубен, куда старшие уже брали мальчика с собой на ярмарку. Он из самого Киева, он из таинственной Академии, в которой, шутка ли, может умоститься тридцать таких школ, как в Чернухах! А потому боже упаси назвать его нечаянно дьяком. Ведь он самый что ни на есть «бакаляр», то есть ученейший во всем свете человек.

Про этих вот «бакаляров» каких только историй не топтали друг другу робкие сельские школяры! У «бакаляра» де книга при себе есть особенная — страницы черные, а буквы белые, и кто заглянет в нее, начнет чахнуть, чахнуть, пока не умрет от страха и тоски. И уже был один такой хлопчик, который заглянул в нее из любопытства и умер. «Бакаляр» после того сгинул неизвестно куда, а черную его книгу люди отвезли в Киев и замуровали в церковную стену.

Выходило, что не всякое учение-то впрок бывает и не всякую книгу следует в руки брать…

Появлялись на селе и другие гости. Заходил однажды черноусый венгр-скрипач; мелькала по дворам быстрая цыганка в желто-фиолетовой юбке; останавливался русским: полк, шедший на строительство линий; цепляясь друг за друга брели вдоль улицы слепцы с темными от солнца и ветра лицами; иногда же приезжал лубенский полковник в жупане дорогого сукна; тогда в каждой почти семье начинались сборы в очередную кампанию или на государеву земляную работу, каналы копать. Село после этого делалось непривычно безлюдным.

Существовала какая-то волнующая связь между миром, что открылся для него в родной долине, и жизнью, которая многолико и невнятно простиралась за ее пределами и все чаще и томительней давала знать о себе.

Мог, наверное, и он, как сотни людей до него и после него, остаться тут навсегда и прожить целую жизнь, и поте лица своего терпеливо споря с черной землей, чтобы потом лечь в нее и лежать там так тихо, так скромно, что через три или четыре поколения никто уже о нем не сумел бы вспомнить.

Это вполне могло с ним произойти. Но пусть кто-нибудь решился бы тогда сказать, что вот и он жил напрасно! Ведь безымянных, случайных судеб и вообще нет, как бы ни противоречила этому очевидность. Могучая стихия людской безымянности существует не напрасно, по для того, чтобы,

напряженно трудясь, время от времени собирать в фокусе неповторимый образ, который отныне делается ее голосом и именем в истории. Так в конце концов должно было произойти и с ним. И вот однажды эта пока неясная ему сила подтолкнула его, мальчика, легонько в спину, и он почувствовал, что пора проститься с материнской долиной и идти.

АКАДЕМИЯ

«По охоте его отец отдал его паче в Киевское училище, славившееся тогда науками. Григорий скоро превзошел сверстников своих успехами и похвалами». Таково краткое сообщение Ковалинского о времени ученичества Сковороды в Киеве. Не считая двухгодичного перерыва, будущий философ провел в стенах Академии целое десятилетие, а о жизни его в эти годы, кроме приведенных выше двух фраз, точно почти ничего не известно. Биограф сообщает об интересующих нас событиях каким-то обидно будничным тоном, словно крутая перемена в жизни молодого Сковороды — дело вполне заурядное: явилась у сына «охота», и отец тут же «отдал» его в учение. Но благодаря каким усилиям это произошло? И далее, в чем состояли академические успехи Григория? Какого рода и от кого заслуживал он похвалы? Все это вопросы, на которые можно ответить лишь косвенно.

Впрочем, что касается успехов отрока из Чернух, то через четыре года учения они обнаружат себя весьма ошеломительно: будто по мановению волшебной палочки, он будет выхвачен из бурсацкой среды и, подобно герою гоголевской рождественской повести, вдруг окажется посреди блистающих золотом и зеркалами царских палат. Но это феерическое событие, кстати тоже скупо обозначенное биографом, мы оставим до времени, чтобы вернуться к самым первым дням юного Сковороды в Киеве.

Шутка ли, сын малоземельного казака (пусть даже не казака, а сельского священника) вдруг из черноземной своей глухомани переселяется в стольный Киев, на кропотливо ухоженную почву учености, в вертоград блистательных эрудитов, полемистов, проповедников!

Ну а Ломоносов, скажут, а Тредиаковский, Державин? Разве не с подобных неожиданностей и они начинали? И разве не составляло это свойство — неожиданность социальных перемен и перевоплощений — стиль целой эпохи? Можно ведь вспомнить множество имен одиозных и просто-напросто скандальных. Что-то содержалось в воздухе XVIII столетия, поощряющее такие вот резкие прыжки снизу вверх или же, наоборот, сверху вниз.

Вчерашний плебей или обносившийся дворянчик заутра оказывался «в случае» и важно примерял парик царедворца, а величественный полет грозного сановника неожиданно обрывался самым жалким трепыханием в прахе земном.

И пусть к этой иерархической чехарде, к этим театральным переодеваниям Сковорода так никогда и не привыкнет стиль

эпохи косвенно скажется и на поворотах его судьбы.

Что же до самого первого поворота, а верней перелета, из глухих Чернух в многошумный город, то это событие все таки должно быть объяснено как достаточно прозаическое. Перед родителями молоденького Гриши, ком бы они ни были, в общем-то не стояла проблема: как бы получше пристроить сына. Не было в те времена фанатической убежденности в том, что всякий юнец после приходской своей школы должен непременно еще и киевской учености отведать. Кто хотел, тот и садился на долгих двенадцать лет за чтение мудрых книжек, за их упорное «многожвание», как говаривал потом Сковорода. А кто не хотел на такой суровый срок запрягаться в книжную кабалу, того и не тревожили особо. Лишь иногда, в годы недобора рассылались сельским священникам письма с просьбой присылать поповичей для прохождения учебного курса. Но и тут многие отмалчивались, предпочитая отсидеться в своих дальних углах и рассчитывая на природную смекалку да на обилие плодов земных, которые и без науки во все стороны растут.

Так что ничего феерического в факте появления деревенского отрока в Киевском училище мы не найдем. Вольному — воля, появился, значит, очень захотел.

…Киев — город великий, город Софии. Семь веков тому поселилась она здесь. Тут, за прочными храмовыми стенами, копилось и возрастало первое на Руси книжное собрание — первая наша библиотека. Она была маленькой сперва — всего сотня другая рукописей, но это было началом знания новой жизни, началом премудрости.

София — на одном холме, а на склонах другого, над берегом Днепра, в глухих норах, — второе обиталище премудрости — подземные кельи печерских монахов. От солнечного света, от дневного шума ушли они сюда в поисках иного света — невещественного, непеременчивого, немигающего. Имя которому Слово — Логос. Веками он светился здесь во тьме, и тьма не могла его объять, не умела поглотить собою.

Еще одно место было в городе — его, как и первые два, избрала себе жилищем премудрость. Это Академия на неугомонном Подоле, где вечно громыхал телегами и арбами громадный базар торгово-ремесленного Нижнего города.

Подол был многоязычен. Кроме своих природных малороссиян, тут издавна обитали греки, армяне, евреи, московские гости, выходцы из Западной Европы. Не много нужно знать чужих слов, чтобы выторговать у иноземца, полезную в обиходе вещицу. Но чтобы сделать покупку в лавке местного книготорговца, чтобы читать все эти ветхие или совсем недавно

изданные книги на греческом или латыни, на польском или церковнославянском — для этого нужно было стучаться в ворота Академии, а там — отчаянный труд, денный и нощный.

В конце XVI века, когда в итоге настойчивых притязаний католической церкви часть Южной Руси подпала под унию, все чаще стали наезжать в православный Киев тайные лазутчики и официальные миссионеры неустанного в своей пропаганде Рима. «Восточная вера лжива, — доказывали они… — Греческая церковь полна ересей и нелепиц, искажающих смысл писания. Что же касается Руси, то участь ее особенно жалка, потому что она земля неучей и невежд, которые даже не догадываются о своих заблуждениях, ибо, не зная толком ни одного из священных языков, лишены возможности с пристрастием перечитать свои головоломные славянские тексты, разобраться, где в них ложь, а где истина…»

В 1654 году через украинские города проезжал антиохийский патриарх Макарий, совершавший путешествие в столицу Московии. В описании этой поездки — оно было составлено сыном Макария диаконом Павлом Алеппским ость место, которое часто цитировалось и цитируется в исторической литературе. Павел пишет о поразившем его уровне образованности украинцев: «По всей земле русских, то есть казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту: все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы; кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами». И немного ниже: «Число грамотных особенно увеличилось со времени появления Хмеля (дай бог ему долго жить!), который освободил эти страны и избавил эти миллионы бесчисленных православных от ига врагов веры, проклятых ляхов».

Между временем, когда Макарий го своим сыном посетил земли казаков, и началом борьбы против униатства на Правобережье Украины меньше столетия. Успехи, которые на этот промежуток были достигнуты на православных землях в области просвещения общенародного, действительно, поражают! Страна почти беспрерывно воевала, борьба на два фронта — с поляками, а на юге с турками и татарами изматывала народные силы. Недаром эту кровавую, озаренную огнями пожарищ эпоху назвали на Украине так печально — Руина. До учения ли, до грамоты ли было в те беспокойные времена? Но как часто происходит — именно в часы смертельной опасности пробуждается в отдельном человеке, в целой нации вся полнота дарований и сил. Это преображение перед угрозой духовной гибели именно и

выказалось тогда убедительнее всего в широкоохватном, поистине всенародном рвении к грамоте. Но чтобы навык чтения вошел буквально в каждую семью, чтобы в храмах пели осмысленно и умно, сколько нужно было учителей и откуда их было брать в таком количестве?!

Первые учителя вышли из стен Острожской, Львовской и Виленской школ (все три основаны в конце XVI века). В 1615 году производится первый набор учеников в Киево-Братское училище (впоследствии Киево-Могилянская академия), утвержденное раченьем киевских братчиков.

Кто такие братчики и что такое братства? Братчинами, можно предполагать, были многие из предков нашего Сковороды. Братчиками в XVII веке стало величать своих воинов все Войско Запорожское. При первой же угрозе католической экспансии братчики объявились в большинстве городов Украины и Белоруссии и прежде всего в охваченных унией районах. Православные объединения — братства — организовывали простейшие школы и школки, заводили типографии, где печатались не только тоненькие буквари, но и объемистые публицистические трактаты писателей-полемистов, целую плеяду которых выдвинуло мощное оборонительное движение. К тому времени, когда Сковорода попал в стены Киевской академии, творения этих писателей уже составляли в ее библиотеке целый раздел. Но эпоха Руины теперь была историей, многое поостыло и подзабылось, утеряло свою злободневность. Ни в одном ил произведений Сковороды не упоминаются те еще недавно знаменитые и славные имена — Иван Вишенский, Елисей Плетенецкий, Захария Копыстенский, Иннокентий Гизель, Памва Берында, замечательным «Лексиконом» которого Григорий, безусловно, пользовался, учась в Академии.

Незаметно как-то Киевская академия стала весьма отличной от того первоначального училища, которое некогда бурлило по поводу «Книги обороны» Копыстенского или «Зерцала богословия» Ставровецкого. Организуя учебные занятия и программы по типу западноевропейских иезуитских академий, посылая туда тайно на выучку своих способнейших учеником, с каждым десятилетием все более насыщая курсы по пиитике, философии и богословию приемами и методами схоластического преподавания, Академия не только внешне, но иногда и внутренне делалась все податливей по отношению к католическому влиянию.

Во времена Сковороды философию здесь уже без оговорок изучали по схоластическим пособиям, опираясь на любимого «латынами» Аристотеля, которого некогда львовский братчик и

афонский монах Иван Вишенский брезгливо именовал «ногайским».

В назначенные дни на Подол теперь съезжался весь светский Киев, чтобы присутствовать на торжественных студенческих диспутациях, во время которых ученики, как театральные лицедеи, бойко схватывались меж собой на непонятной большинству гостей, но тем не менее привлекательной латыни, избрав оружием хитроумные тезисы и антитезисы.

Такой декоративности, такой пышности училище аскетически строгих времен Руины, конечно, не знало. Так же как не знало оно или почти еще не знало тогда многого другого: румяненьких амуроподобных херувимов и одутловатодебелых святых на иконах, сентиментально-умильного партесного сладкогласия на клиросах, виршейраков и виршей криптограмм — этих наивно-залихватских образчиков доморощенного студенческого формализма.

Яркие краски нового быта на фоне суровой старины вы глядели вызывающе, а иногда и аляповато, но для новичка-провинциала они наверняка представляли собою предел возможной красоты.

Никогда еще, ни наяву, ни во сне, он не видел вокруг себя столько золота, столько драгоценного сияния и блеска. Под сводами Софии он дивился резному иконостасу, роскошно перевитому позолоченными виноградными лозами, отягощенному красными и нелепыми гроздьями.

Перед этим великолепием тускнели мозаики алтарного полусвода. На одной из створ царских врат серебряный аист клювом пробивал себе грудь и кровью, хлеставшей из рапы, поил птенцов.

Искрился в руке священника золоченый потир — диковинный плод ананасный. Выносили на амвон книгу; цел она облистана была жарким металлом, мерцала сканными узорами, сияла эмалями, белыми, голубыми, вишневыми; казалось, и страницы должны быть в ней из золотых листов, нежно звенящих, когда их переворачивают.

Так он стоял в доме премудрости, не зная еще, что ко всему этому великолепию сама премудрость отношения не имеет, а если и имеет, то косвенное, отраженное, Ибо не равняются с нею золото и кристалл, и не выменять ее на сосуды из чистого золота. Лишь потом, значительно позднее, сделалось для него ясно, как непросты бывают отношения между внешностью и смыслом, и он смог записать для себя, что «ложная позолотка есть блистательнее паче самого злата».

В 1738 году, когда Григорий поступил в Академию. В ее

списках числилось 444 человека. Классы едва вмещали эту и по тем временам весьма внушительную студенческую массу, а о том, чтобы предоставить псом место в академическом общежитии бурсе, и речи быть не могло. Дети зажиточной казацкой старшины и богатого духовенства, как правило, квартировали отдельно, снимая себе жилье за солидную плату. Остальные устраивались частью в тесных деревянных флигелях бурсы, частью же при подольских приходских школах, где в уплату за предоставляемый угол они обязаны были выполнять поручения дьяка или старосты приходской церкви заготавливать дрова для отопления храма, убирать его, делать всякую другую хозяйственную работу.

Еще тяжелее, чем с жильем, было с питанием. Деньги на продержание беднейших студентов отпускались лишь изредка, да и в суммах минорных. Далеко пи регулярно можно было поесть при бурсацкой кухне, а если и кормили, то раз в день, не чаще, и кормили более чем скромно.

Одна лишь юношеская безунывность и помогала при таких плачевных обстоятельствах как-то перемогаться, да еще и вышучивать самих себя, свое полуголодное состояние в бурлескных виршах. Фантазия в этих студенческих опусах не знала предела, достигая чудовищных преувеличений, и смех то и дело перемежался с отчаянием.

Местом действия, отправной его точкой в таких виршах обычно служил темный бурсацкий запечек, где школяры отогреваются в зимние стужи, прижавшись друг к другу и к едва теплым кирпичам, где рассуждают о богатых дарах, которые получат по время рождественских колядований от чувствительных. подольских хозяек, или же предаются мечтам о летних вакациях, когда, как тощие тараканы, разбегутся они из своего угла в поисках корма по всей теплой земле.

Вот некто из наиболее предприимчивых бурсачков водрузил на печь кадку с квашней замешены последние остатки домашней муки. К радости оголодавших приятелей квашня всходит на диво, пыхтит, раздувается, охает, как толстая баба. Вот уже кадка находила ходуном, квашня с облегченным стоном ударила в потолок, хлынула к запечку. Школяры в ужасе посыпались на пол, квашня за ними. Кто-то решился было утихомирить ее, впихнуть на место лопатой, но квашня, как живая, поскакала за смельчаком, сгребла в охапку и ударила лбом об дверь. Вой, треск, неразбериха: кто кричит, что ему квашня уже по шею достала, кто советует послать за лодкой. Тесто валом валит через порог, на улицу. Свинью, что набросилась было на нежданную потраву, квашня так подкинула, так приложила к земле, что та

только крикнула очумело. Вот расходившаяся квашня уже «почала як море шумети», вот уже и на запечке, куда, спасаясь от потопа, вновь забрались бурсаки, она их настигает…

Такое, должно быть, только во сне и могло привидеться, когда с вечера ложишься натощак.

Острая нужда в самом необходимом развивала у школяров изобретательность и находчивость. Только для самих себя сочинять подобные истории не стали бы. Это было бы слишком уж «искусство для искусства». Нет, все это сочинялось прежде всего для уличного исполнения: от дома к дому плелись, разыгрывая свои фантазии на голоса, по ролям — словом, любым способом, лишь бы рассмешить и разжалобить благодушных слушателей.

Те, кто считал этот способ выклянчивания провизии унизительным для себя, действовали на иной манер. Были свои «академики» в умении красиво и незаметно похозяйничать в базарном ряду или за садовым плетнем.

Особняком держались признанные грамотеи, которые уже после первых классов славились как отличные латынщики. «Заправить Альвара» какому-нибудь юному тугодуму — маменькиному сынку, то есть преподать начатки латыни, пользуясь популярным учебником Альвара, — было для них делом нехитрым. Таких с охотою нанимали репетиторами в богатые дома Подола и верхнего Киева.

Как бы то ни было, жесткие условия бурсацкой жизни в одном имели свое преимущество: в Академии трудно было отбывать время. Но тем, кто по настоящему стремился к знаниям, бытовые невзгоды только подбавляли энергии и решимости.

При слове «бурса» у современного читателя сразу же возникают определенные литературные ассоциации. Бурса это Помяловский, отчасти Нарежный и Гоголь, но прежде всего Помяловский, его «Очерки». Бурса — нечто прямым образом связанное с темными, варварскими, задворочными проявлениями жизни. Там «большая рыба поедает маленькую», там бушуют низменные страсти, там детство уродуется нравственно и физически. Жестокие дисциплинарные меры, схоластический дух преподавания, мертвящая стихия буквоедства — вот устоявшиеся чертылитературного канона, который вольно или невольно всплывает в воображении у многих при слове «бурса». Но нужно пристальнее всмотреться в быт старинных школяров — он не одною черной краской мазан. В том, как велись занятия, каковы были отношения между учениками и воспитателями, какими правилами регламентировалось течение студенческой жизни, — во всем этом немало любопытного, а может быть, и

поучительного.

Пресловутую латынь, с которой обычно спляливаются представления об унылой и бесполезной зубрежке, киевские «спудеи» осваивали в общем-то без особой натуги, легко, играючи. Работа над чужим языком в прямом смысле слова уподоблялась игре: не только в аудиториях, но и после занятий, в общежитиях, молодью люди, по установленным условиям, должны были общаться только на латыни. Тому, кто в разговор» с приятелем допускал определенное число ошибок, и вручали особый футлярчик — «калькулюс», в который вкладывали лист бумаги с его фамилией. Теперь владельцу футлярчика нужно было стараться изо всех сил, чтобы до ночи «сплавить» неприятный трофей кому-либо из сверстников, уличив его при свидетелях в нескольких ошибках. Если же сделать этого не удалось и «калькулюс» остался у него, назавтра неудачника публично осмеют в классе, а то и накажут как-нибудь.

Домашние задания бурсаки выполняют здесь же, в академическом корпусе. Потрескивают поленья в печи, нестройный гул стоит над столами. Кто корпит над сочинением, кто готовит вопросы и ответы к диспуту, кто переписывает шуточный латинский стишок, в котором рифм почти столько же, сколько слов.

Через три четыре года любой из этих ребят, кажется, не струсит поболтать на латыни с самим папой римским! По крайней мере, студентам иезуитских коллегиумов уж ни в чем не уступит, и Августинову «Исповедь» будет читать бегло, как в детстве читал часослов.

Киевских «академиков» нередко сравнивали с иезуитами. Они де слишком много брали напрокат у иезуитов, слишком подобострастно их копировали.

Но это не совсем верно. Сходясь в деталях, обе системы обучения резко различались в существенном. У одних была суровая корпоративность, не терпящие пререканий регламентированность и подотчетность духовной жизни, иго иерархической «элиты», которая обращалась с новичком, как с податливым комком глины, готовя из него исполнительное орудие для борьбы с инаковерными.

У других как никак главенствовала свобода. Недаром же прах Конашевича Сагайдачного, первого гетмана братчика, покоился у стен Академии! Недаром учился здесь когда-то сам Хмель — отец народной воли! Не с тех ли пор и утвердилась в облике любого бурсака особая черта — независимость в поступке, речи, осанке? Бывали случаи: обиженный преподавателем студент не заробеет самому митрополиту написать о несправедливости, жертвой

которой он оказался. И добивался таки верховного удовлетворения своей просьбы.

Конечно, в большинстве случаев конфликты решались в школьных стенах: Академии было предоставлено право внутреннего самоуправления с собственным судом. Но если все-таки строптивый школяр чувствовал, что академическая жизнь ему не по нраву, а студенческий харч не по вкусу, никто его особенно не удерживал. Место беглеца долго пустовать не будет. В те годы, когда начинал учиться в Академии Григорий Сковорода, приток новичков с каждой осенью все возрастал. Учебное заведение переживало пору второго расцвета. Благоволивший к Академии киевский митрополит Рафаил Заборовский (после смерти Рафаила она стала именоваться Киево-Могило- Заборовской) выделил большую сумму на реставрацию учебного корпуса — Студентского дома, к которому надстроили второй этаж. Значительно пополнилась в эти годы и без того уже богатая училищная библиотека (к концу XVIII века в ней числилось 12 тысяч томов). Поступало много рукописей и книг в виде пожертвований от меценатов и бывших учеников. Щедро одаривали школьное книгохранилище печерские монахи, в собственной типографии которых трудились тогда блистательные мастера-печатники. Лавра издавала роскошные фолианты с изящными гравюрами и заставками. Целым событием для тогдашних библиофилов был выход в свет книжки с экзотическим названием «Ифика и иерополитика», содержавшей стихотворные наставления под символическими рисунками, или крошечного томика Псалтыри, который свободно умещался на ладони и был набран изысканным миниатюрным шрифтом.

Издавались и учебники. Но тогда это дело было еще сравнительно новое, и гораздо чаще, чем печатными трудами, преподаватели пользовались собственными рукописными трактатами. Каждый наставник считал для себя делом чести не повторять курсы, которые читались на кафедре до него, а составить спою оригинальную «систему». Со временем, когда печатании учебной литературы сделалось более регулярным и рукописные «системы» стали постепенно выходить из моды, многими это было воспринято как явный и плачевный упадок преподавательского уровня.

Пройдут годы, и Григорий Сковорода учитель пиитики и автор отвергнутого местным начальством трактата по теории стихосложения — на собственном грустном опыте убедится, насколько в преподавательском деле велика разница между творчеством и упрямым вещанием общеизвестного.

Но это все позже будет. А пока для него уже радость, если

доверят ему вместе с группой сверстников переписывать набело для нужд училища какую-нибудь редкостную книгу, в которой преподаватели испытывают острую нужду. Такая работа для студентом считалась почетной. Поручали ее самым грамотным и усидчивым юношам, имеющим каллиграфический почерк. Каждому переписчику назначался определенный урок — часть текста, с которой ему нужно было сделать список. Потом отдельные тетрадки-задания сшивались, и получалась новая книга.

Это был древний, многими поколениями книжных людей проверенный способ «тиражирования». Им в Киеве пользовались еще во времена Ярослава Мудрого.

Традиция сохранилась и в XVIII веке: в одном из архивных документов наш Сковорода значится в списке 35 студентов, которые изготовили для киевского митрополита копию с ученого трактата. Четкий каллиграфический почерк остался у него на всю жизнь.

Симон Тодорский да Симон Тодорский… Только и разговору было об этом человеке. Вся Академия о нем говорила, перемешивая действительное с фантастическим. Нет де на белом свете такого человека, с которым бы Тодорский не сумел объясниться на его родном языке. Если и можно де сравнить его с кем, так разве лишь, с апостолами, когда они вдруг чудесным образом заговорили на всех языках сразу.

Кто же он на самом-то деле, этот загадочный и необыкновенный Тодорский? Новый Симон маг, чернокнижник, дружащий с бесами, или необычайный дар и вправду сообщен ему святым духом?

Наконец, Тодорский объявился, страсти понемногу улеглись, и сквозь небывальщину проступили факты. Больше десяти лет ездил по Европе киевский студент Тодорский. Побывал в Ревеле, занимался в Магдебургской академии, учился в Галле у знаменитого ориенталиста Михаэлиса, потом и сам преподавал в Венгрии. Экзотическая слава полиглота сопутствовала ему везде.

С возвращением Тодорского в Киев здесь открываются дополнительные классы древнееврейского, немецкого языков и возобновляется преподавание греческого. С по меньшим успехом он мог бы преподавать еще и халдейский, сирийский, арабский. Его познания в области восточных языков были явно чрезмернее, чем запросы Академии, и через несколько лет Тодорский был затребован в Петербург.

Но разработанные им методы преподавания еще долго давали свои плоды. Свидетельство этому хотя бы такой курьезный факт: многочисленная колония греческих переселенцев,

существовавшая тогда в Нежине, не раз запрашивала из Академии учителей… греческого языка.

Да, Тодорский поражал современников своими познаниями. Но что касается его европейской одиссеи, то она, впрочем, не являлась для них чем-то сверхобычным. Нет, учиться на Запад ездили многие, и это было скорей нормой, чем исключением из правил. Не найти, пожалуй, в Европе ни одного знаменитого своими науками центра, где бы не побывали в разное время любознательные и дотошные киевские школяры. Кто в Сорбонне учился, кто посетил германские университеты, кто слушал лекции в Падуе и в Болонье. Даже Англия открывала свои берега упорным киевлянам. Что уж говорить про Рим! И совсем почти не в счет — соседние земли — университеты Краковский или Виленский.

Но не только сами езживали за кордон — студентов иноземцев постоянно у себя содержали; и не в малом числе.

…На рождественской неделе, подкормившись подольскими домашними колбасами, вдруг вспоминали школяры: давненько уже комедий не играли.

Небо — для ангелов, для тихого их порхания и нежного пения; земля — для людских потасовок и перебранок, от которых бороды летят по ветру; адская пропасть— для бесовского легиона, для сонма грешников… Такова сцена, три наскоро сколоченных этажа, на которых лицедействуют школяры, разыгрывая бурные, под громыхание громов, действа.

Комедии с интермедиями и мистерии из академического репертуара ставились в учебном корпусе, а если дело было к лету, то прямо под открытым небом, на поляне у горы Скавыки — там было традиционное место студенческих весенних праздников — рекреаций.

Объявлялось какое-нибудь «Торжество естества человеческого», или какое-нибудь «Благоутробие Марка-Аврелия», или какая-нибудь «Свобода от веков вожделенная» — весь город еще гуще, чем на диспутации, валил к «академикам». Тут Жизнь спорила с курносой Смертью, являлись «поганские» богини — нарумяненная Юнона и угрюмая Фортуна, «три цары со дары» под путеводной звездой стояли у входа в вифлеемскую пещеру. Настоящий Пилат умывал тут руки, а Ирод проваливался сквозь сцену, падал в яму, которую себе же вырыл, и падение его сопровождалось улюлюканьем сатанинской своры, хохотом самого князя тьмы — Люцыфера.

Это были серьезные и даже страшноватые, но все-таки игры (Ludi по латински). А в перерывах между Ludi разыгрывались еще и интерлюдии, они же интермедии. На них то в первую очередь и

ломился пестрый киевский люд, вплоть до закоренелых нелюдимов.

О небе и небесном в интермедиях уже не вспоминалось. Тут была сплошняком земля, рытая-перерытая, до горечи знакомая, но в силу того, что она теперь показывалась со сцены, — до боли в челюстях смешная.

Кто-то кого-то колотил, обдуривал, спаивал; показывали друг другу рожи и другие части тела, плясали до упаду, орали песни, болтали на разных языках. Москаль-солдат усиленно тут акал, а чванливый паныч-поляк дзенькал, плутоватый цыган сыпал базарным жаргоном и холоп-белорус изъяснялся по-своему. Тут встречались бродячий астролог, бабка-знахарка, пастух, шинкарка, торговец, гадалка, черт, пан, забулдыга, богатый и голодранец, толстый и тощий… Какие все знакомые фигуры! Аи да лихую комедию заломили паны студенты!

Зритель-обыватель по горло насыщался бывальщинами и небылицами. Разойдутся и долго будут еще вспоминать, сокрушенно качать головами: ну и комедия! Но потом забудут. А Григорий Саввич Сковорода через несколько десятилетий скажет с виду простенькое, незамысловатое: «Свет подобен театру».

Раз уж речь зашла об академическом театре, нельзя не упомянуть и еще одну диковину старого Киева. Это вертеп. Тот самый таинственный и примитивный вертеп, что непонятно какими судьбами объявился когда-то на Украине, чтобы стать для ее градов и весей незаменимой утехой. В интермедиях — любители-актеры, а здесь все тех же шинкарок, цыган, запорожцев и чертей представляли — и еще более смешным образом — куклы, марионетки. Деревянный короб-дом вездесущего вертепа в каких только глухоманях не мелькал, путешествуя на спине бродяги студента! Среди дюжины кукол не последняя фигура — бедный дьячок, который голосит о своих детках, отданных в учение в далекий город:

О мои деточки сердечныя!
Не на ученье вас берут, но на мученье бесконечное.
Лучше бы вас своими руками в землю закопал,
Нежели в семинарию на муку отдавал.

А под занавес каждый раз появляется еще один незаменимый персонаж — сивый дидуся с торбою в руках, старичок Савочка. Сколько таких старичков, ласковых, подслеповато-безобидных, волочат старые ноги по украинским шляхам! Савочка кланялся и без того горбатой спиной, предлагая зрителям наполнить торбу кто чем может.

Трудно сказать, кем чаще был юноша Сковорода во всех этих студенческих предприятиях, путеводительствуемых музами, — участником или зрителем. Впрочем, про одну музу мы знаем совершенно твердо, что она была к нему благосклонна. Академия славилась своим хором. Не только составом его голосов, но и характерностью сложившегося здесь певческого стиля. Однажды из Санкт-Петербурга в Киев приехал столичный гость, уставщик Гаврила Матвеев, прозвищем Головня. Приехал со специальным поручением — отобрать лучших малороссийских певчих для придворного хора. Головня прослушал многих, а выбрал семерых человек. В их числе был и Григорий.

Так неожиданно прерывается его студенческая жизнь — подводится черта под ранними годами ученичества.

Кажется, в последний уже раз засыпает он на жесткой бурсацкой лавке. Какие сны ему снятся? Знает ли, что наутро начнется жизнь, более похожая на сон, чем на явь?

Спит с ним и весь Киев — горы и Подол.

Спит под луной великая река, в серебряном блеске излук, в синем сиянии песчаных плесов,

НА ХОРАХ

Чего только не бывает, было и такое: из дворцового окна высовывалось, тускло поблескивая, ружейное дуло. Нет, не новый заговор готовился, а просто кто-то из августейшей фамилии желал зайца подстрелить. Зайцев выпускали из клеток императорского сада с таким расчетом, чтоб они прыгали себе по травке прямо под окна. Гремел выстрел, печально звякали хрустали на светильниках, дым рассеивался, и видно было — лежит.

В клетки загоняли новых зайчишек. В соседних вольерах верещали мартышки, далее квартировали птицы — их тут были громадные колонии: по нескольку сот соловьев, зябликов, снегирей, овсянок, подорожников, щеглят, чечетов и чечеток, дубоносок, иров и прочих, а чижей — тех достигало до тысячи. На пасху птиц по обычаю выпускали из комнатных клеток на волю, но многие певцы не доживали до весны, дохли — то ли от питерских вредных сквознячков, то ли от сердечного ожирения — в клетках корму много, а места для лёту мало. Потому птицу каждый год и заготовлять нужно было сотнями. Специально были на то охотники, мастера по отлову и уходу за певчим хозяйством. Чтобы птицы не чувствовали себя угнетенно, их огромные общие клетки в саду устилали дерном. Для соловьев кормом служило муравьиное яйцо, а сверх того еще и говяжье сырое сердце. Знай только щелкай, соловушка! Поистине царским было меню у дворцовых слонов. Они в Петербург присылались тогда из Персии и обслуживались персидскими же слоновщиками, которые в зимние месяцы выдавали каждому животному по четверти ведра водки на день, а летом поменьше — ведро в неделю. Точно ли выпивали эти ведра сами слоны или им слоновщики несколько помогали — не известно, однако водка для рациона запрашивалась наилучшая, и персы придирчиво дегустировали ее, а при случае даже и жаловались в том смысле, что данная водка, мол, «к удовольствию слона неудобна, понеже явилась с пригарью и не крепка». Сверх того слоны употребляли виноградное белое вино, сахар, коровье масло, всяческие пряности.

То ли от тоски по родной Персии, то ли от желудочного переутомления животные нередко пели себя беспокойно. Однажды сразу трое слонов сорвались, с привязи и пустились гулять по столице; причем один, как было записано в протоколе, «прошел на Васильевский остров и там изломал Сенат и чухонскую деревню».

Если б не эти слоновьи мятежи, да не сумасшедший гомон тысяч птиц в садах и во дворце, да не ружейная пальба из окон, да не пушечные салюты под колокольный трезвон, да не частое пение виватов, да не шушуканье гвардейцев по углам — то жилось бы в городе Петра совсем тихо…

Как-то вечером в Зимнем дворце цесаревна Елисавет была вдруг потребована от банкетного стола в отдельный покой. Вышла она оттуда через несколько минут, шумно дыша, с алыми пятнами на щеках и полной шее.

Только что Анна Леопольдовна, мать царствующего младенца Иоанна Антоновича, строго отчитала ее за подозрительные переговоры с некоторыми послами и гвардейскими офицерами. Добро бы уж действительно имелась какая-то твердая договоренность! Нет, все было неопределенно, как невская капризная погода за окном.

Но именно теперь нужно было на что-то решаться.

Минула тревожная ночь.

Молодая женщина подала голос из своей спальни. Ей принесли нагрудные латы — кирасу. В спешке надевали их прямо поверх платья. Елизавета вдруг сделалась решительной и властной, настоящая дочь Петра — Венера в доспехах Марса.

Ночью она явилась перед своими гвардейцами, явилась прямо из вьюги, ослепительная и отважная, с локонами, облепленными снегом.

Вдохновение передалось по шеренгам.

— Клянемся тебе, матушка! — крикнула верная гвардия.

Пошли.

В Зимнем караульные были вялы и покорны спросонья.

Поднялись в покои Анны Леопольдовны. Цесаревна смело прошла к постели и растолкала женщину, которая совсем недавно так оскорбительно ее отчитывала за неосмотрительное поведение.

Наутро, как говорит историк, народ приветствовал новую императрицу. Народ состоял из регулярных частей, которые мерзли под окнами дворца, — продрогшие гренадеры с гусиной кожей. 25 ноября 1741 года было датой очередного — из почти вошедших уже в привычку — дворцового переворота.

Из Киева певчих везли по старому почтовому тракту, через Козелец, Глухов, Севск, Калугу. Недалеко от Козельца стоял при дороге хутор Лемёши — с недавних времен место знаменитое.

Что бы теперь было с нашей Малороссией, рассуждали попутчики, если бы однажды лемёшский реестровый казак Грицько Розум не напился в шинке, и не вернулся домой в состоянии драчливом и дурном, и не попался бы ему на глаза

старший его сын Алексей, и не погнался бы он за сыном вокруг хаты с топором в руках, и не сделали бы они — один в гневе, а другой в ужасе — нескольких кругов, и не изловчился бы Алексей, и не юркнул бы в ворота, и не убежал бы в церковь соседнего села, и не пел бы на тамошнем клиросе так хорошо, что мимоезжий генерал Федор Степанович Вишневский посадил его на бочку токайского вина и привез в Петербург, где, будучи придворным певчим, Алексей до того понравился цесаревне Елисавет и голосом, и видом своим, что она его, «друга нелицемерного», поощряла, поощряла — и вот теперь, став самодержицей, сделала первым человеком империи.

Жалко лишь, что сам Розум не дожил до этого славного часа, наступившего благодаря его не только неразумной, но и вполне дурацкой выходке. Уж было бы на что ему посмотреть! Посмотрел бы он на старшего сынка, такого важного и красивого, как выезжает он в сопровождении сотни таких же, как сам, красавцев на заячью охоту или как восседает за столом, ломящимся от обилия всяческих питий. Да и не только бы посмотрел, но и сам вкусил тех напитков, после чего уж стыдно было бы ему ступить на порог шинка, в котором усатая дочь Израиля потчевала его разбавленной оковитой. Посмотрел бы и на Кирилла, младшего сына, как-никак гетмана Малороссии и президента Академии наук, в каких он дворцах живет и какие письма сочиняет французскому ученому мужу Вольтеру.

Но вот ведь не довелось Розуму поглядеть на все то, чему он был всему прямой и главный виновник.

Что же касается Розумихи, то, сделавшись вдруг из убогой казачьей вдовы чуть ли не второй дамой двора, та насмотрелась разных див. По всей Малороссии теперь гуляют подробности из ее жизни: какие носит прически, как на балах щеголяет.

Конечно, по зависти много на пожилую женщину и наговаривали, вплоть до такой нелепицы, что де колдунья она, с нечистой силой общается, потому и императрицу с помощью сынка-колдуна приворожила.

При дворе теперь малороссияне были в особом фаворе. В обеих столицах зажили они шумными полубогемными колониями: сплошь ведь были мастера на всяческие художества любители красиво погулять и окружающим составить приятность.

Что касается придворных певчих, то их, впрочем, набирали из малороссов по давней традиции: еще в 1652 году царь Алексей Михайлович завел у себя двенадцать киевских «вспеваков», отдарив их потом патриарху Никону. Старая Москва та в церковном пении выезжала на басах, а у «вспеваков» тон задавали тенора да дишканты, получалось умилительней и сладкогласней,

даже в историю вошло «киевский распев».

Через время беспокойные киевляне удивили Москву еще одним музыкальным новшеством: стали петь в храмах по партиям. В древнем унисонном исполнении одну и ту же мелодию вели все сразу, одновременно, а теперь появились концертные номера со специальными партиями для каждого голоса. Иногда такая разбивка делалась чрезвычайно искусно — пели в шестнадцать, в двадцать четыре голоса, и впечатление было ошеломительным: нежнейшие соло сменялись громоподобными тутти, текст дробился, одна и та же фраза могла разным манером повторяться целую вечность. Пели вызывающе лихо, откровенно, без смущения любуясь собственными голосами, громоздя за партией партию и, наконец, обрывая все это головокружительное музыкальное строение на таких восторженно-исступленных верхах, что почти уже и неприлично было слышать подобное буйство в храмовых стенах.

В придворной капелле молодой императрицы числились двадцать четыре человека, хотя на самом деле певчих при дворе было гораздо больше. Кроме основного хора, для праздничных дней, имелся и малый хор — для ежедневных служб. Государыня часто наведывалась на спевки, и не только в качестве слушательницы; она и сама любила концертировать рядом с молодыми людьми; и который из них не был тогда тайно и безнадежно влюблен, ловя и выделяя ее голосок из общего звукового потока?

Голосистые ребята старались на славу. Зато на славу и жилось им при дворе.

…А что же наш бурсачок, певчее горлышко? Шутка ли, спит теперь он в Старом Зимнем дворце, возле дворца нового, да так спит, что и. встав поутру со своего белоснежного пуховичка, никак не поймет — кончились грезы или только начинаются.

У него теперь собственный гардероб: шуба суконная на волчьем меху; затем кафтан зеленого сукна, да к нему полукафтанье лазоревой китайки, воротник и обшлага — красный атлас, а пуговицы — шелк. Это форма повседневная, а для праздников положен мундир — в таком мундире всю жизнь бы перед зеркалом стоять! Кафтан опять зеленый, только сукно куда тоньше, чем на повседневном; на полукафтанье красное сукно, воротник и обшлага из малинового бархата, кругом ворота золотой шнур с кистями, на боках позумент золотой, да золотым же шнурком полы обнизаны; подкладка из красной крашенины, и ко всему прочему еще кушак из пунцовой тафты. Таких красавцев во всем мире и полсотни не наберешь!

Во дворце у них с жильем просторно — по два, по три

человека в комнате, а для старших голосов — отдельные покои. Певчие на втором этаже, внизу священники с семьями да псаломщики. А вокруг тьма курьезного увеселительного люду: немецкие музыканты, итальянские певички, молдавские скрипачи, бандуристы степняки, что умеют одновременно петь, играть, плясать и тут же ловко опорожнять стоящую на бандуре чарку; затем карлы и карлицы, горбунья с безножками, да арапки, да калмычки, да персианец Мишка Федоров, да великан Яшка Локтев, да персиянки девушки Анюта с Парашей, не говоря уже о всяческом роде шутов, вдовушек и старушек…

Если день не воскресный и не праздничный, и, значит, не нужно засветло поспешать к ранней обедне, и если к тому же накануне певчему пришлось для звонкоголосия укрепить себя полдюжиной чарок, то с утра он начинает искать себе спутника, чтоб пройтись, по вчерашнему хмелю. Большой изобретательности для такого розыска не требовалось (кроме персонального жалованья, певчим регулярно — на круг и по отдельности — отпускалось из дворцовых погребов разных водок и вин в изобилии, не говоря уже про пиво, меды и кислые щи) — и вот, глядишь, в какой либо из комнат уже запели ребята:

Болит голова больно,
В постели лежать полно.
С похмелья же как вставши,
Те ж чарки в руки взявши,
Первую испиваем,
Похмелье прогоняем,
Другую ту как выпьем,
Всем многа лет крикнем,
Многа лет, многа лет,
Многа лет!..

Вдруг среди бела дня объявлялось: нынче во дворце машкерадный бал. Певчий пригоршней воды освежал разгоряченное лицо, торопливо напяливал праздничный кафтан и вперегонки с музыкантами мчался на хоры галерейного зала. Внизу уже сияли среди цветов причудливые груды снеди и струил фонтан на фигурном столе. Музыка гремела парадный вход, шелестело шествие атласом, парчой и шелками, рассаживались под ахи и охи, потому что места разыграны были по лотерее, и лишь волнительный случай решал, какому кавалеру возле какой сидеть дамы. Тут сотрясала своды сигнальная канонада с Невы. Мгновенно на все окна падали глухие шторы. Устанавливался на миг жуткий мрак, но тут же вспыхивали тысяча и двести свечей,

преломляя свои язычки в подзеркальниках, хрустальных подвесках, бриллиантах и алмазах, озаряя темные, кишащие звездами полотна фальшивых окон. С хор водопадом обрушивалось громовое пожелание многих лет. Через минуту певчие уже обливались потом, шумно дышали, дико и озорно косясь на уставщика.

Пение задавало плещущему, как море, торжеству стремительный разгон. Уже столы куда-то слизывало, и на секунду открывалось обнаженное пространство паркетного пола. Ноги танцующих прихотливо выплетали по нему невидимое кружево.

…Вот всю капеллу угощают у развороченного, в винных потеках, стола, и кабанья голова, варенная в рейнвейне, осклабясь, глядит на это торопливое подъедание остатков.

Бал уже разбился на компании и группки; всюду беготня, Шум крики какие-то страшные люди, как заблудившиеся привидения, расхаживают по полутемным залам, никого не узнавая, бормоча что-то под нос.

Еще видел: в одной из укромных зал выступала на фоне стены полка с книгами; света мало, и не разглядеть было, что за названия поблескивают золотом на толстых кожаных корешках, только видно, что очень старые тома. Потянулся рукой, а книга не вытаскивается, ни одна, ни другая; нет вообще никаких книг, а весь этот фокус нарисован на холсте искусным обманщиком. Хорошо еще, что никто не подсматривал, а то бы засмеяли. И стыдно, что так обманулся, и жаль: книг-то нету!

И еще видел: как смешны наползшие на брови парики, как размазываются мушки на щеках, как ползет по шву атласное платье, напяленное на шестидесятилетнего старика, как невыгодно для большинства дам условие, поставленное государыней накануне маскарада: мужчины чтобы были в женских нарядах, а женщины — в мужских, — и как зато выигрывает при столь жестком условии сама она.

И еще видел, когда, наконец, из душных зал и комнат выбегали дышать ночной свежестью: как странно светится в темном саду мрамор Эзоповых фабул, а надо всем этим — над призрачными, похожими на привидения скульптурами, над темными кустами и деревьями — и само небо светится странно — безжизненно бледное.

И когда, наконец, доволакивался до постели и падал, не раздеваясь, ощущение зыбкости подкатывало с такой силой, будто вокруг ходила настоящая морская буря: то куда-то вверх стремительно летели ноги, то голова; в страхе открывал глаза и убеждался, что все на месте — потолок, угол окна, но стоило

смежить веки — и опять то же.

23 февраля 1742 года, в послеобеденное время, из Петербурга по санному пути тронулся громадный царский поезд — ехали в Москву, на коронацию. Ехал весь двор — десятки кибиток, нескончаемый обоз грузовых саней — с гардеробом Елизаветы в тысячу пятьсот платьев, с хрупкими сервизами, с большими венецианскими зеркалами.

О четвертых сутках пути, на подъезде к селу Всехсвятскому, в семи верстах от матушки Москвы, раздался веселый благовест и теперь уже не стихал, передаваясь от храма к храму, пока, минуя триумфальные арки, одна другой преудивительней, поезд не подтянулся к стенам Кремля, над которыми, распугивая вороньи стаи, басил сам Иван Великий.

И как началось с этого дня, так до самой коронации уже не утихало, до 26 апреля, когда звон поднебесной меди смешался со звоном золота, которое освященная государыня щедро сыпала в толпы ликующего народа. Праздничное половодье затопило старую столицу почти на целый год: был утерян счет балам и маскарадам, дворец на Яузе, как хрустальный ларь, сиял по ночам иллюминацией и фейерверками. Москва валом валила в прибывшую из Петербурга оперу, где всех с ума сводил кастрат итальянец, и все. представление шло на итальянском, и придворные спеваки, участвовавшие в хоровых номерах, тоже пели по итальянски.

На троицу ездили в Лавру, и там Елизаветины любимцы снова пели — заливисто и лихо.

Дни богомолья сменялись днями охоты, охота — новыми балами, балы — ночным бражничеством в узком кругу, когда певчих вдруг со смехом сволакивали с только что пригретых постелей и везли к кому-нибудь из могущественных земляков — то к Игнатию Кирилловичу Полтавцеву, камерфурьеру ее величества (он, кстати, был в каких-то отдаленных родственных отношениях с Григорием Сковородой), то к гостящим в Москве малороссийским полковникам, то к матушке Розумихе, а то и к самому Алексею Григорьевичу, а там, оказывается, только с вечера пробудились и теперь уже ни за что не хотят спать, а хотят «куликать» до солнца.

Осенью в яузском дворце отгуляли свадьбу: женился первый придворный бандурист Григорий Любисток. Как ноль, что сам седоусый молодожен не мог видеть столь великолепного торжества слепенький был.

А в декабре, в подмосковном Перове, самым тайным образом устроилось еще одно венчание — Елизаветы Петровны с ее «другом нелицемерным».

Наконец, назначили день отъезда, и по молодому снежку, слегка утомленные широким московским гостеприимством, помчались восвояси.

Но передышка была краткой, как глоток морозного ветра в оконце кибитки. Вскоре отошел слабо соблюдаемый филипповский пост, и с рождества возобновился для всего двора затяжной труд веселья.

Певчих тормошили непрестанно: многочасные репетиции, стояние на клиросе и хорах, банкеты и оперы, крестины и именины, поминки и вечеринки, выезды на гулянье в Петергоф, катанья на лодках и галерах по Неве — вверх и вниз по житейскому хмельному морю.

В мае вся капелла гуляла по случаю произведения в дворянское достоинство все того же слепенького бандуриста Любистка и одновременно с ним певчего по прозвищу Богуш, он же Божок.

Такое ведь и каждому из остальных могло однажды улыбнуться. Словом, как пели позже в песенке:

Веселая царица была Елизавет…

Вот тут-то, в самый разгар веселья, и выкинул один из двадцати четырех штатных певчих императорской капеллы такой фокус, что все вокруг только ахнули: «Ну и Сковорода, ну и дурак! Недаром и фамилия у тебя такая глупая!»

Слыханное ли дело — Сковорода отпрашиваться вздумал! Куда, зачем, почему, с какой это стати? А вот так, ни с того ни с сего, захотелось ему домой, в Киев, на бурсацкий запечек.

Другое бы дело — сорвал голос, тогда понятно, тогда его никто и держать не будет, а совсем наоборот, побыстрее спишут — и бывай здоров! У певчего, известно, век короток, что у ночного мотылька. Но ведь голоса он не сорвал, голоса у него на троих итальянцев хватит, — а вот ведь какого выдает петуха!

И чему его там только учили, в этой Академии, по которой он с утра до вечера воздыхает, и чему еще научат, если он в двадцать два года не разбирает, где хорошо, а где плохо?!

Словом, окружающим понять такой выверт было невозможно, если только не предположить, что он тем самым вздумал оскорбить всех своих приятелей: вы, мол, тут резвитесь, пока не протрезвитесь, а я чистенький, я вам не компания.

Ах, подожди, подожди, еще раскаешься в глупости своей, еще наглотаешься голодной слюны, вспоминая о недоеденных сладких кусках!.. Мир ловил его. Мир открывался перед ним нескончаемым пиром, книгой, полной соблазна, и вот он взял да и закрыл ее и отодвинул от себя подальше. Для того чтобы так поступить, нужно было жить с чувством, что ты не сын, а пасынок

века своего.

Отдавал ли он себе полный отчет в том, зачем решается на подобный шаг? Вряд ли. Скорее всего это был полуосознанный импульс, вырвавшийся нечаянно, самого его застигший врасплох. Но он прислушался к себе и доверился смутному беспокойству.

Решение Сковороды совпало с путешествием Елизаветы Петровны в Малороссию. На прощанье еще раз подхватил его вихрь упоительно-бестолковых сборов.

У Севска поджидало свою благодетельницу огромное, как сияющий облак, малороссийское воинство. Казачьи команды, отряженные от всех полков — Киевского, Черниговского, Полтавского, Лубянского, Харьковского, Переяславского и прочая, прочая, — одетые в новенькие синие черкески и широкие шаровары, в разноцветных шапках, грянули тысячеголосое приветствие.

В Козельце было новое зрелище: из Киева навстречу поезду прикатили студенты с вертепами, с пением витальных кантов.

А на берегу Днепра, раздвинув несметную толпу киевлян, к поезду вынеслась диковинная колесница, запряженная двумя крылатыми конями-пегасами. Седовласый старец, сдерживая поводья, обратился к царице с речью, из которой значило, что он есть сам Владимир Великий, восставший из праха, дабы почтить свою любимую наследницу, под чье милостивое покровительство днесь поручается народ российский.

Снова пели киевские студенты, снова всем на диво пели столичные партесники, напоследок пел среди них и Григорий.

С ним все-таки обошлись на редкость великодушно и щедро. В Академию Сковорода был отпущен в звании придворного уставщика. Пусть его!..

ХОЖДЕНИЕ

Из Киева Григорий уезжал учеником, а вернувшись сюда через два года, сделался студентом, «спудеем».

Ученик — это тот, кто посещает один из первых четырех классов («школ») Академии. У классов была такая последовательность: фара, она же аналогия, инфима, грамматика, синтаксима. Студентом становился ученик, благополучно перешедший в пятый класс пиитический. Затем следовал класс риторики и философский. В отличие от предыдущих «школ» в философской учились уже два года подряд. Но самой серьезной ступенью обучения был богословский класс, который намыкал всю двенадцатилетнюю академическую программу, в «богословах» нужно было ходить четыре года.

О времени вторичного пребывания Сковороды в Академии, как и прежде, очень мало фактических сведений.

Перед нами целых шесть академических лет (1744–1750; в богословской «школе» Григорий пробыл лишь половину срока), а как он жил в эти годы, каким воспитателям симпатизировал, каким дисциплинам отдавал предпочтение, с кем дружил, как и где проводил каникулы — все эти вопросы почти не поддаются выяснению. Не сохранилось ни писем Сковороды той поры, ни каких-либо мемуарных источников, которые бы позволили хоть краешком глаза увидеть, как вчерашний баловень судьбы вновь превращается в трудолюбивую школярскую пчелу. Бывшие одноклассники уже числились в «философах», и, должно быть, нелегко было ему привыкать к своему положению переростка, заново «входить в форму». Есть лишь сведения, что Григорий очень быстро наверстал упущенное и вскоре вернул себе славу одного из лучших слушателей Академии.

У биографов Сковороды об этих годах нет почти никакого материала. «Круг наук, преподаваемых в Киеве, — пишет Ковалинский, — показался ему недостаточным. Он возжелал видеть чужие край. Скоро предоставился повод к сему». (Так ли уж «скоро», если шесть лет в Академии Сковорода все-таки пробыл?!)

Гесс де Кальве, видимо, чувствуя, что вторичная (и уже окончательная) разлука Григория с Киевским училищем нуждается в более конкретной мотивировке, приводит эпизод курьезного и, скорее всего, легендарного характера. Сковороде некое высокое духовное лицо (чуть ли не митрополит) якобы посоветовало принять священнический сан (в другом варианте монашеский постриг). Какой школяр не почувствовал бы себя на

вершине счастья, получив такое почетное предложение — прямое свидетельство его ученических успехов! Киевский «академик», облаченный после прохождения полного учебного курса в монашескую ризу, как правило, тут же получал преподавательскую должность, он мог стать впоследствии префектом или даже ректором, не у себя в Академии, так в другом училище, а ректор — это обыкновенно и настоятель училищного монастыря. Наконец, для него могли открыться и архиерейские перспективы… Словом, Сковороде в очередной раз посчастливилось. И как же он в этих обстоятельствах поступает? Крайне дико и непонятно для окружающих! В предложенных ему условиях он не разглядел ничего, кроме посягательства на собственную свободу, а не умея сформулировать отказ более деликатным образом, якобы принялся юродствовать: изменил голос, стал заикаться и вообще всячески выставлять себя безумком. Тогда начальству не осталось ничего иного, как вычеркнуть «спятившего» Сковороду из студенческих списков.

Выходка вроде бы и похожа на некоторые будущие поступки нашего героя, но надо учесть и одно существенное отличие. Во всех стесняющих его ситуациях и обстоятельствах (а их будет немало!) Сковорода имел обыкновение отстаивать свой образ жизни открыто и недвусмысленно. Мы никогда не увидим, чтобы в подобных случаях он действовал обиняком или же прибегал к актерству. Вот почему при рассмотрении причин, побудивших его, не доучившись, покинуть Академию, предпочтение надо отдать все-таки не сомнительному эпизоду с заиканием, а причинам, которые изложил Ковалинский. Итак, «круг наук, преподаваемых в Киеве», показался ему недостаточным; «он возжелал увидеть чужие край».

Уже говорилось, что у киевских «академиков» был большой опыт закордонных учебных командировок. Громкие имена европейских академий и университетов продолжали примагничивать наших «западников» и теперь. Среди собственных учителей большинство читало свои курсы по западноевропейским учебникам. Вполне резонно было поэтому тяготение учащихся к первоисточникам, а не к пересказам.

Если курсы пиитики, риторики и богословия Сковорода слушал у преподавателей, в общем-то, весьма средних, ничем ярким не отметивших себя в истории Академии, то в философской «школе» ему повезло: два года он посещал лекции Георгия Конисского — одного из знаменитых духовных деятелей XVIII столетия. Конисский был поэтом, сочинителем школьных драм и остроумных интермедий, незаурядным проповедником (его проповеди отличались смелостью сопоставлений, духом

свободного критицизма). Впоследствии, оставив преподавательское поприще, он прославился как энергичный и смелый борец с католическим влиянием на западе России; и не случайно именно ему очень долго, вплоть до пушкинских времен, приписывалось авторство «Истории руссов» — замечательного летописания о борьбе украинского народа за свое национальное освобождение.

Есть предположение, что Сковорода и спустя многие годы после слушания лекций у Конисского находился в переписке со своим давнишним учителем философии. В 1835 году была опубликована выдержка из письма Сковороды Конисскому (подлинность письма, однако, проблематична).

Но если факт переписки подлежит сомнению, то несомненно другое: в своих зрелых работах Сковорода очень часто выступает прямым единомышленником Конисского — решительного обличителя «обрядовой», «внешней» религиозности.

…7 сентября 1747 года на Подол, к стенам училищного храма, собрались многие сотни людей — проводить в последний путь знаменитого паломника-писателя Василия Григоровича-Барского. Всего месяц назад Киев его торжественно встретил, а теперь прощался с ним навсегда. При колокольном звоне всех городских церквей его положили в землю под окнами академических классов, и в стену здания, где когда-то учился Василий, вмуровали доску с надгробной надписью.

Обряд погребения был совершен находившимся в Киеве фивиадским митрополитом Макарием и училищным ректором Сильвестром Ляскоронским. Восемь лучших учеников Академии произнесли прощальные речи.

Если Григорий не был в числе этих восьми человек, то уж, безусловно, он находился среди провожавших и, без всякого сомнения, знал обстоятельства необычной, романтической жизни паломника.

Василий Барский провел в беспрерывных странствованиях двадцать пять лет — срок, по только по понятиям студента, но и по разумению опытного в путешествиях человека головокружительный! Где он только на побывал, этот киевский школяр, — и в Будапеште, и в Вене, и в Неаполе, и в Риме — там принимал его в число избранных паломников сам папа, — и в Бари, где поклонился мощам Николая Мирликийского. Из Флоренции отправился в Венецию, а оттуда — морем — в Иерусалим, был на Афоне и в Константинополе, на Кипре и на Патмосе, в Египте и Греции. Обошел пешком весь Ближний Восток, поднимался на священную гору Фавор, омывался в водах Иордана. В плетеных коробах монахи поднимали его с помощью

веревок на вершины неприступных скал, где гнездятся их отшельнические кельи. Сколько раз подвергался лишениям, умирал от голода и лихорадки! Сколько раз бывал застигнут морскими бурями! Сколько раз налетали на него грабители на безлюдных тропах!

Да, много было и в прежние века на Руси великих паломников — можно ведь вспомнить и Даниила Игумена, и Добрыню из Новгорода, и Авраамия Суздальского, — но Василий Барский, кажется, всех превзошел!

В достоверности его удивительной страннической жизни не мудрено было бы и усомниться, не привези он с собою кипу исписанных мелким торопливым почерком тетрадей да толстую папку рисунков с видами знаменитых и мало кому известных обителей, городов, селений, Памятников, обелисков… В Киеве уже ходили из рук в руки интереснейшие «Странствования» паломнический дневник Барского. Читаешь эту книгу — и будто сам идешь по раскаленной солнцем каменистой дороге, в соломенном капелюхе и черном плаще пилигрима, с посохом в руке и торбою за спиной. Радуя взгляд черепичными кровлями и зеленью садов, возникают впереди города. В путевых гостиницах к паломникам отношение чаще всего приветливое — им дают постель со свежим бельем, бесплатный ужин, а иногда и кружку вина. В монастырских общежитиях страннику, по древнему обычаю, торжественно омывают ноги, а потом зовут его к общей братской трапезе.

Но часто приходится ночевать в каком-нибудь заброшенном амбаре или под открытым небом, на стогу сена, а то и просто под деревом, на старых его корнях. В дороге паломник держится, как правило, одною лишь милостыней: кто сунет в руку тяжелую монету, кто виноградную кисть, но кто и обругает, и в спину толкнет, чтоб не попрошайничал. Разнообразна жизнь странника, до слез разнообразна.

Но когда впечатлительный юноша перелистывает страницы захватывающего путевого дневника, его воображение уже не способны охладить никакие, пусть даже самые мрачные картины перенесенных другим человеком лишений. Одни лишь лучезарные дали и видятся ему впереди.

В 1750 году через Киев проезжал небольшой отряд русских служилых людей, направляющихся к «Токайским горам» — виноградной житнице Венгрии. Возглавлял экспедицию полковник Гавриил Вишневский, которому после смерти его отца, генералмайора Федора Вишневского, правительство поручило возглавить русскую колонию в Токае. Оттуда уже в течение нескольких десятилетий к императорскому двору ежегодно

поставлялись лучшие сорта венгерских вин. В составе экспедиции, следовавшей через Киев, находился и священник — в Токае у колонистов была своя церковь.

Почетное звание придворного уставщика вдруг пригодилось Сковороде. То ли кто-то порекомендовал его Гавриилу Вишневскому на свободную должность регента при заграничной церкви, то ли они знали друг друга со времен коронации Елизаветы Петровны — словом, из Киева отряд выехал с новым лицом в своем составе.

Вот и Григорию Сковороде пришел час ступить на странническую дорогу, отправиться, как говорят на Украине, «в мандры», в «мандрйвку». С Академией, как мы видим, он расстается несколько неожиданным образом — не как профессиональный паломник и не в качестве студента, официально откомандированного на доучивание за кордон.

Ехали через Острог, через Почаев, мимо знаменитой его Лавры, через богатый каменным строением Львов, той самой дорогой, по которой и Василий Барский прошел. Когда перевалили через Карпатские горы, открылись внизу голубые дубравы и плодородные поля Семиградья.

Скрипели на дорогах обозы, сочились дегтем тележные оси, одни двигались на запад, другие поспешали на восток, кто верхами, кто пешком каждый по своему делу; в праздничных нарядах прихожанки с какого-нибудь хутори до ближайшего селения; с пятнами пота между лопаток, с осунувшимися лицами шествовали богомольцы к отдаленному монастырю; теснясь к обочине, группкою плелись нищие слепцы в седых от пыли лохмотьях; сверкая спицами, с грохотом проносились почтовые экипажи; прискакивал и волочил ногу вечный дут рак, с не прикрытой от солнца головой, не уставая щедро улыбаться всем и каждому, шел, сам не зная куда, откуда и когда, — просто нравилось ему идти, бормотать что-то и улыбаться; после ночного перехода отдыхала в тени деревьев цыганская семья, горел костер, и цыганята корчили рожи прохожим; скрипел костылем солдат — ржавые от табака усы и вытекший глаз на терпеливом лице; выступали гуськом монахини, стучали шестами хмурые пилигримы, обвешанные образками знаменитых обителей; шла пожилая женщина; на пятках ее босых ног виднелись глубокие черные трещины, как на рассохшейся без влаги земле (он с детства знал, как страдают женщины от этих незаживающих трещин на больных подошвах); крестьянин нес с базара живой мешок, в котором верещал поросенок; шли, шли, шли, иногда ехали, но больше шли…

Тут-то, среди мелькания незнакомых лиц, на перепутьях

разнообразнейших судеб, и открывалось во всей своей мощной простоте: жизнь — дорога. Казалось, что никто, нигде и никогда не жил и не живет оседло, но все они здесь, в пути. И что могло быть проще этого — ходить по земле! И в то же время какая высокая тайна извечного шествия светилась у каждого где-то в глубине глаз. Спроси его, и он скажет, что идет на базар, или в гости, или наниматься на работу, или поклониться мощам Николы; но что бы он ни сказал, он поневоле солжет, потому что на самом деле он идет для чего-то неизмеримо большего, о чем и сам чаще всего не догадывается. Он шествует туда, где положен предел всякому движению, быстрому и медленному, движению тела и движению желаний. Он идет, чтобы избыть всего себя в этом труде. Идет, недоумевая или радуясь, тоскуя или надеясь, к средоточию всего своего существования, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий…

Каждому хоть на минуту, хоть на малый миг открывается смысл сокровенного шествия; и тогда он видит: да ведь эта вот дорога, обычнейшая из дорог, — это и есть жизнь моя, единственная, непреложнейшая, необыкновенная до слез.

Двадцати восьми лет от роду Григорий Сковорода увидел, как далеко еще идти до края земли, где солнце каждый вечер садится.

…О годах, проведенных им в Европе, существуют самые противоречивые сведения. Наиболее достоверно свидетельство, что, числясь при токайской миссии, он с разрешения Вишневского имел возможность отлучаться весьма далеко и надолго: «… поехать из Венгрии в Вену, Офен, Презбург и прочия окольныя места». (Офон — нынешний Пешт, Пресбург — Братислава.)

Гесс де Кальве пишет, что, кроме Венгрии, Польши. Словакии, Чехии, Пруссии, Австрии и Германии, Сковорода посетил также Италию, побывал в Риме, осмотрел «… триумфальные врата Траяна, обелиски на площади св. Петра, развалины Каракальских бань…».

Наконец, в связи с его путешествиями назывались и такие традиционные и первоочередные для славянских паломников места, как Иерусалим, Константинополь, Афон.

Думается, однако, что страннический опыт Сковороды был гораздо скромнее и что не навещал он «ни Рима, ни Ерусалима». При определении его зарубежных маршрутов нужно исходить прежде всего из того, что за границей Григорий пробыл всего около трех лет. Обозреть за такой ограниченный срок хотя бы половину достопримечательных мест, которые Василий Барский обследовал за четверть века, Сковорода физически не смог бы. Да вряд ли бы он и согласился на столь беглую «экскурсионную» пробежку, если бы вдруг возможность для нее была ему

предоставлена.

Существенно и то, что Сковорода все-таки путешествовал не с заданием писателя паломника, стремящегося предоставить своим будущим читателям как можно более полный, исчерпывающий очерк увиденных святынь. О своем зарубежном странствовании он никогда не написал чего-либо, напоминающего по жанру «хождение». Не оставил даже списка обойденных городов и стран. В его философских трактатах и переписке позднейших лет есть лишь обрывочные воспоминания о том, что когда-то было увидено и услышано на Западе: польские и немецкие пословицы, описании жилищ, обычаев и сельскохозяйственных работ.

Были ли в его странствованиях лишения? Сковорода путешествовал не в одеянии пилигрима, а это могло сопровождаться для него дополнительными трудностями (на пилигрима, снабженного дорожными патентами, и владельцы гостиниц, и дорожные власти, и обыватели смотрели все-таки более дружелюбно, чем на «праздного» незнакомца). Но и о дорожных невзгодах он тоже потом нигде не напишет. Если уж вылетел кораблик из гавани — значит, готов к бурям. Без того не бывает, чтоб они не нагрянули в свой черед.

…На плодоносных токайских плантациях русские колонисты собирали виноград для дорогостоящего маслача. Так называлось вино, приготовляемое из подсушенных на лозах гроздей. В точила бросали усохший виноград, почти изюм, и сока получалось мало. Зато перебродив, он превращался в вино, не подвергающееся окислению.

Возвращаясь из Венгрии домой, вез и Сковорода с собою драгоценные запасы — они не истощались потом в течение всей его жизни. Во время своих европейских встреч он, как пишет Ковалинский, сумел «доставить себе знакомство и приязнь ученых, а с ними новые познания, каковых не имел и не мог иметь в своем отечестве»; значительно усовершенствовался он во владении языками — латынью, греческим, немецким. Правда, сам Сковорода опять же нигде не уточняет, с кем именно из западноевропейских ученых он познакомился, чьи и где слушал лекции. Не в его правилах было величаться ни своею ученостью, ни знакомством со знаменитыми современниками.

Наконец, трехлетнее пребывание за границей прибавило к его жизненному опыту еще одно наблюдение, на котором он потом часто будет останавливаться в разговорах, письмах, стихотворениях, философской прозе. Слов нет, мечты о дальних странствиях пьянят. Кажется, что именно там и обитает «золотой век», где мы отсутствуем, и стоит лишь прорваться туда, как мы окончательно сделаемся счастливыми.

Но сами странствования отрезвляют. «Но ищи щастья за морем, не проси его у человека, по странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шаре земном, не броди по Иерусалимам… Воздух и солнце всегда с тобою».

Нужно уметь дорожить тем, что даровано с рождения. Ведь всех столиц никогда не оббегаешь, жажду к новым городам и странам никогда не насытишь. Возвратился — и вдруг видишь, что для счастья достаточно хотя бы вот этого старого дерева, вот этого обросшего очеретом ручья, вот этого обыкновеннейшего облака над головой, даже если оно через минуту исчезнет, рассеется в небе…

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Кому Переяславль, а мне горославль…

«Моление Даниила Заточника»

Гесс де Кальве пишет, что, прибыв на родину, Григорий первым делом посетил Чернухи. Отца и матери уже не было в живых, родной брат ушел из села неизвестно куда. Кроме как на могильных холмиках, негде было страннику приклонить голову.

Сковороде шел тридцать первый год.

Это так уже немало — тридцать лет позади! — а чего он достиг, с чем перешагнул рубеж человеческого возмужания? Его киевские одногодки — кого ни возьми — успели остепениться, крепкие корни пустить в жизнь. Только его по-прежнему носит то вверх, то вниз, а берега все не видно. И вроде умом его бог не обидел, и сам как будто времени зря не терял, неутомимо приращивал к дарованному свое, постоянным трудом накопленное умение, — но кому они видны, его таланты, с кем он ими поделится?

Ближайшие события показали, что отчаиваться Сковороде нет причины, что он уже сделался заметен на малороссийских ученых горизонтах.

1 июня 1753 года в старинный город Переяслав прибыл на епархию новый епископ — Иоанн Козлович. Эта дата есть одновременно и веха в истории украинской литературы XVIII столетия: на приезд церковного иерарха было написано стихотворение — первый из дошедших до нас датированных литературных опытов Григория Сковороды. Многими годами позднее автор включил стихотворный панегирик Козловичу в свой «Сад божественных песней» под номером 26 м. То ли сам он при этом, запамятовав, поставил ошибочную дату, то ли описку сделал кто-либо из копиистов (стихотворение в автографе не сбереглось, а в двух старейших списках оно значится под 1750 и 1758 годами), по чьей бы вине ни возникла хронологическая неясность, очевидно одно — стихотворение могло быть написано только в 1753 году как непосредственный отклик на событие. Уже первые его строки — «Поспешай, гостю, поспешай, наши желания увенчай!» — свидетельствуют, что панегирик составлялся в

самым канун торжественного архипастырского прибытии и, скорее всего, был предназначен для публичного произнесения во время встречи, а возможно, и для исполнения его певчими. Уточнив эту дату, мы тем самым уточняем и время возвращения Сковороды из-за границы: и так, летом 1753 года он находился уже в Переяславе.

Переяслав расположен невдали от дороги, связывающей Чернухи с Киевом. По тем временам это был один из живописнейших — и местоположением, и обилием храмовых строений — уголков Малороссии. В городе существовала семинария. И по числу учащихся, и по количеству классов (всего четыре) она весьма уступала таким учебным заведениям, как Киевская академия, но все-таки была училищем широко известным.

Стихотворное поздравление Сковороды, конечно, не осталось незамеченным; с осени 1753 года его приглашают читать курс пиитики в Переяславской семинарии. В XVIII веке сочинять приветственные, так называемые «витальные» стихи, речи и проповеди было обычным делом. Это был едва ли не ведущий жанр целой литературной эпохи. Научились ловко подменять искренность восторженностью. Панегирик в адрес епископа Иоанна — сочинение тоже не бескорыстное. Это, надо заметить, сказалось и на его качестве. Интересное как факт биографии автора, оно, однако, не выходит за рамки школьного версификационного упражнения и в этом смысле резко противостоит лучшим поэтическим творениям Сковороды. От него ждали зарифмованной лести. Вот он кое как и вымучил ее из себя.

Став преподавателем, Григорий должен был позаботиться о составлении собственной учебной «системы». Так появилось его «Рассуждение о поэзии» трактат по теории стихосложения. Пафос трактата, по догадкам позднейших исследователей (по догадкам, потому что рукопись но сохранилась), состоял в противопоставлении новаторской силлаботонической системы Ломоносова — Тредиаковского обветшалым канонам русских силлабистов. О том, правомерны ли такие догадки, скажем позднее. Но что-то такое, не вполне соответствующее господствующим вкусам, трактат все же содержал; епископ после ознакомления с рукописью высказался о ней критически.

Сковороде в этой ситуации следовало бы признать несовершенства своей «системы», учесть все замечания его преосвященства: умел польстить однажды, постарайся еще раз.

Но что-то не получалось из него последовательного льстеца: свой курс, несмотря на замечания, Сковорода продолжал читать,

ни буквы в нем не изменив.

Тогда епископ затребовал от упрямого учителя письменного объяснения через консисторский суд. Григорий ответил, что в своих суждениях о поэзии он исходит из мнений профессионалов — людей, знающих свой предмет, а не из любительских впечатлений того или иного не вполне сведущего лица. «При том в объяснении прибавил латинскую пословицу: Alia res sceptrum? Alia plektrum, то есть: иное дело пастырский жезл, а иное пастушья свирель».

Можно вообразить гнев Иоанна Козловича. Гром грянул в ясном переяславском небе: «Не живяше посреди дому моего творяй гордыню!»

Можно представить себе и ошеломленного таким неожиданным поворотом событий Сковороду. Ведь его буквально вытолкнули из семинарии. Кажется, большего позора он никогда в жизни не испытывал ни до, ни после. Вот уж была ему наука: что началось плохо, и кончается не лучше.

На улице он оказался без копейки в кармане, а всей собственности — кафтан, две стираные-перестираные рубашки да башмаки…

С половины XVIII столетия облик стародавней Малороссии стал быстро меняться. Формально она еще жила дедовским казацким укладом: во главе воинства находился гетман, сохранялось территориальное деление на полки и сотни. Но последний украинский гетман Кирилл Разумовский и по образу жизни, и по склонностям был великосветским петербуржцем, хлебосолом и острословом, душой столичного общества, но уж никак не предводителем малороссийского казачества. Что до полковников, сотников, подскарбиев, бунчуковых, писарей и прочих представителей казацкой «старшины», то и они но собирались отставать от времени. Страсть к роскоши и мздоимству с быстротой чумы распространялась в этой среде, некогда выдвигавшей самоотверженных и бескорыстных рыцарей народной воли. Пламенная речь гоголевского Тараса Бульбы о товариществе тут уже не нашла бы совершенно никакого отзвука. Тут уже никто бы не стал направо и налево крошить домашнюю посуду — в знак презрения ко всяческому приобретательству. Такого дебошира быстро бы скрутили и привели в чувство.

Всё стремились стянуть к дому и в дом: новые участки земли — «грунты, — правдами и неправдами отобранные у окрестных рядовых казаков, драгоценную модную утварь (чтоб и у нас было, «как у людей»); строили свои конные заводы, открывали большие винокурни, продукция с которых поступала на рынки или же шла в добротные домашние подвалы, где припасов скапливалось на

многие годы.

Уже не хотели жить в дедовских мазанках, под соломенной или камышовой крышей. Насмотревшись на столичные архитектурные дива, нынешний полковник и к своему жилищу норовил примастерить колонны (пусть хотя бы деревянные, под известь), а для украшения потолков и стен зазывал какого-нибудь ловкого живописца, который умел лихо намалевать там и сям дюжину «эмблематов» с латинскими надписями. Развешивали по стенам зеркала в дорогих рамах. Для детей выписывали новейший инструмент — клавицимбалу (фортепиано), а также учителей французского языка.

Вот как писал об этих переменах и нововведениях украинский историк: «Полковник был уверен, что сабля, снятая его дедом с польского шляхтича в битве при Збараже, будет точно так же украшать нарядный кафтан его внука. Увы, они не предчувствовали, как близки иные времена: внуки выломали драгоценные камни из эфесов, чтобы украсить ими пряжки своих французских башмаков».

В ясные весенние деньки из многочисленных покоев какого-нибудь полковничьего отпрыска вытаскивается на волю, на ветерок вся многопудовая пыльная коллекция ковров — «килимов»: ковры старые, трофейные, и новые, покупные, ковры персидские, турецкой и татарской работы, молдавские ковры и свои малороссийские, всевозможных расцветок и рисунков. Пыль идет столбом от дружного выколачивания, за версту слышна пальба, а в это время хозяин дома пролистывает на досуге свежую столичную газету или же, предупреждая облысение, моет голову по последнему рецепту соседа юшкой борща на пшеничном отваре с шалфеем.

В одной из таких вот усадеб — место называлось Каврай — жил известный на всю переяславскую округу дворянин Степан Васильевич Томара, один из богатейших тогда малороссийских помещиков (в принадлежавших ему слободах и хуторах числилось около двух с половиной тысяч крестьянских душ). Имя свое Томара имел обыкновение писать не Степан, а Стефан, что по гречески значит «венец» (предки его происходили из Греции). Сам Степан Васильевич был сыном переяславского полковника, а супруга его, Анна Васильевна Кочубей, — дочерью полтавского полковника. Когда у них родился первенец, назвали его в честь деда Василием. Пришла пора мальчика учить грамоте. Именитому помещику не с руки отдавать своего ребенка в приходскую школу. Разыскать подходящего учителя Томара поручил своим переяславским знакомым.

Так в 1754 году Григорий Сковорода оказался в Каврае.

Заключили договор на год, условились об оплате. Обедать учителю позволялось вместе с воспитанником, за хозяйским столом.

Условия хорошие, и должность не такая уж сложная: с ролью репетитора Григорий наверняка был уже знаком со студенческих лет.

Когда в первый день он вышел с мальчиком к обеду, поразило его странное поведение хозяина. Тот вел себя так, будто учителя нет в комнате. Молчал, выжидая, и Григорий. Неприлично первым затевать беседу с неразговорчивым главою семьи.

То же повторилось и в следующий раз.

Они были почти ровесниками — Томара лишь четырьмя годами старше Сковороды. Но с каким упорным постоянством важный хозяин подчеркивал свое над ним превосходство! Будто зарок такой дал — ни в коем случае не заговаривать с учителем. И вот изо дня в день длилось тягостное, изощренной пытке подобное молчание.

Разрешили бы ему столоваться с дворней, как бы легко он вздохнул. Но нет, они затем и держат его при себе, чтобы, приближая, унижать. Для них, похоже, особое удовольствие заключено в том, что можно ежедневно встречать и провожать молчаливым презрением этого пообносившегося «мандрованного дьяка» бродячего учителишку: пусть не очень-то носится со своею ученостью!

В свободные часы Григорий уходил за село, в степь, бродил по дубравам. Места были раздольные, щедрые; и здесь сильнее всего осознавал он свое одиночество. Через час-другой нужно снова возвращаться и усадьбу надменного молчуна. Сорваться бы, убежать куда глаза глядят! Но нет, раз уж договорились на определенный срок, он свой срок до конца отслужит.

Этот каврайский год получался для него неплохой школой выдержки. Что ж, он принимает вызов. Пусть они почувствуют, глядя на него: перед ними не угодник, не гнущаяся под ветром былинка, а человек, внутренне совершенно свободный. Унижать его можно сколько и как угодно, но сам он унизиться не способен.

Зато с младшим Томарой отношения у Сковороды сложились легкие. Мальчик оказался натурой тонкой, всякое доброе слово прямо доходило до его сердца, получая там ясный отклик. Он как бы не замечал, что происходит между взрослыми, и вел себя с воспитателем как с равным. Заниматься с Васей было одно удовольствие, на уроках веселились, шутили. Смех то и дело звучал из их комнаты.

Однажды в середине урока Сковороду позвали к госпоже. Анна Васильевна была вне себя от гнева: как учитель посмел

назвать дворянского сына… свиной головой?

Григорий опешил. Значит, кто-то подслушивает их занятия? Да, действительно, намедни, когда они с мальчиком обсуждали какую-то тему, и он, Григорий, попросил Васю высказать свое мнение, а мальчик ответил неверно, то он и сказал ему что-то вроде того: так, мол, могла бы рассуждать разве только свиная голова. Но ведь это было сказано в шутку, без тени намека на то, чтобы оскорбить ребенка, который ведь и сам понял это как шутку и весело рассмеялся на реплику учителя.

Впрочем, что тут можно было доказать? Хозяйка пожаловалась мужу. Томара был человек в общем-то весьма сложный: грубость нрава, корыстолюбие, гонор новоиспеченного дворянина, лишь недавно заведшего собственную родословную и фамильный герб, причудливым образом совмещались в нем с природной отходчивостью сердца, весьма трезвым умом. Целые глыбы ворочались в этой душе, давя и тесня друг друга.

Хотя происшествие, по его мнению, не стоило и выеденного яйца, Томара заключил, что лучше расстаться с учителем, чем лишний раз ссориться с супругой.

Когда Сковороду рассчитали, хозяин вдруг вызвал его к себе.

— Прости, государь мой! Мне жаль тебя!

Жалости, конечно, цена не велика, но Григорий растрогался. Надо же, Томара наконец-то заговорил с ним!

— Спасибо, человече, и на добром слове спасибо!

В конце января или начале февраля 1754 года, находясь еще в Каврае, Сковорода получил письмо из Москвы от некоего Коноровского Сохи. Автор просил Григория не отчаиваться в нынешних невзгодах («не печалясь ни одеянием, ни другим чем»), выражал надежду на скорую встречу и добрые перемены в жизни своего товарища.

Перемена, как видим, последовала действительно быстро.

В современных биографиях Сковороды к 1754 году принято относить не только его пребывание в Каврае, но и вторичную поездку в Москву. Уйдя из имения Томары, Григорий некоторое время прожил в Переяславе, а потом присоединился к ехавшему из Киева в Славяногреко-латинскую академию иеромонаху Владимиру Калиграфу, своему знакомому по ученью. Но в Москву спутники не могли прибыть в 1754 году.

При уточнении даты их выезда нужно исходить из того, что, как свидетельствуют документы, Калиграф получил назначение на должность префекта и преподавателя богословия в московской Академии только 31 января 1755 года. В дороге ему не повезло — сломал ногу. Лишь в августе следующего, 1756 года, по выздоровлении, новый префект приступил к исполнению своих

обязанностей в Заиконоспасском монастыре.

Значит, пребывание Сковороды в Москве приходится на 1755й и, возможно, 1756 год, но никак не на 1754й.

Калиграф, человек европейски образованный, вез с собой из Киева обширную библиотеку, которую украшали книги Эразма Роттердамского и особо почитаемого им Лейбница. К характеристике спутника Сковороды следует добавить еще одну немаловажную деталь. Он был из выкрестов — принявших православие евреев, и, как это нередко бывает с выкрестами, подвизающимися на духовном поприще, Калиграф чувствовал себя в новой обстановке не совсем уверенно. Мало того, что к нему со всех сторон присматривались не без ревности, он и сам мое подать явный повод для нее. Так, кстати, получилось с ним в Москве. Произнося здесь одну из норных своих проповедей, Калиграф, что называется, сорвался: избрав темой суеверие, он сделал упор на том, что иконопочитание часто превращается в идолопочитание, и в увлечении переступил ту тончайшую богословскую грань, за которой его суждения приобретали уже привкус ереси. Где-нибудь в другом месте и в иное время (например, в северной столице при ее основателе Петре) ему бы такая вольность и сошла незаметно, но не в Москве с ее обостренным слухом на мельчайшую догматическую фальшивинку, с ее многовековой влюбленностью в икону — земное вместилище небесной красоты. Да, икона может сделаться для невежды чуть ли не идолом, но сама она по природе своей не просто деревянная доска, разрисованная яичной краской и покрытая олифой, а образ святости. Этого не понимали византийские иконоборцы, этого не хотят понимать лютеране и кальвинисты, а с ними заодно и приезжий «философ».

Немаловажным оказалось и то, что проповедь пришлась на Сретенье иконы Владимирской Божьей Матери — праздник, посвященный образу, особо почитаемому москвичами. Сколько было в прошлом столицы великих годин, связанных с этим чудотворным образом, — нашествия, пожары, встречи дружин-победительниц! А тут явился из Киева новый умник и вещает всенародно, что украшать любимую икону драгоценностями, петь во славу ее кондаки и стихиры — дело чуть ли не пустое. Такие речи ему уместней бы держать не здесь, а в какой-нибудь реформатской кирке, среди бесстыже оголенных стен Началось официальное разбирательство. В результате автор злополучной проповеди был оправдан, но вскоре получил назначение в отдаленный монастырь.

Присутствовал ли при этих поучительных событиях Григорий Сковорода, трудно сказать. Известно, что, находясь в Москве, он

навестил Троице-Сергиев монастырь и некоторое время прожил там, пользуясь покровительством лаврского настоятеля Кирилла Лящевецкого — еще одного бывшего ученика Киевской академии.

В Лавре каменщики ярус за ярусом поднимали новую громадную колокольню. Специально для приезда императрицы были возведены особые покои — «царские чертоги», с многофигурной лепниной, символическими изображениями по стенам и потолкам.

Гость днями просиживал в богатейшей монастырской библиотеке, листал тяжеловесные рукописные книги двух, трех, а то и четырехсотлетней давности, с замысловатыми орнаментами, цветными миниатюрами тончайшего письма. Оне всегда любил в книге эти яркие веселые оконца и всякий раз глядя на них, с интересом отмечал, как жаждет слово, мысль, выразить себя не только в букве, но и с помощью линий, красок — в сюжетном рисунке, символе. И как часто именно здесь мысль запечатлевалась с такой многозначной полнотой и в то же время с такой сжатостью, что для передачи ее словами понадобились бы многие и многие страницы.

Среди книг попалась ему одна не совсем обычная — она скорее подошла бы для библиотеки какого-нибудь мирского лица. То была рукопись на греческом языке с эпиграммами античных авторов. «Не успело и лето пролететь, а козленок обернулся косматым козлом», — прочитал одну строку Григорий.

Кажется, совсем недавно он приезжал сюда, в Лавру, молоденьким певчим, а между тем более десяти лет уже минуло. У него теперь и голос иной, и походка изменилась, а вот чувствует он себя куда беспомощней, чем в те беспечно-веселые времена.

Присматриваясь к местным обитателям, Григорий не без удивления замечал, сколько развелось тут неженок л модников. Многие монахи носили под ризами тонкое шелковое белье, даже чулки надевали шелковые. Про одного из таких в Лавре гуляла присказка: «Гедеон нажил миллион». Сей злополучный Гедеон щеголял в туфлях, в пряжки которых было вделано по бриллианту.

Новые манеры решительно вторгались не только в усадьбы провинциального дворянства, но ухитрялись проникнуть и за крепостные стены древних обителей.

Кирилл Лящевецкий, беседуя с другом, советовал ему остаться в монастыре — недавно тут открылась семинария, для которой нужны были преподаватели. Опять же. не сам ли Сковорода восхищается сокровищами здешнего книгохранилища? Да, — соглашался тот, — что и говорить, библиотека

замечательная. Но он хотел бы жить поближе к родным местам.

Вскоре они расстались. Григорий возвратился из Москвы в Малороссию.

Через несколько лет потянуло в родные места и Кирилла. Будучи рукоположен в епископский сан, он занял место владыки в Чернигове. Кажется, они больше не встречались, но переписку друг с другом пели. Она отличалась, судя по одному сохранившемуся письму Сковороды, большой искренностью — свидетельством полного доверия. «Ты просишь, — пишет Сковорода, чтоб я яснее показал тебе свою душу. Слушай же: все я оставлял и оставляю, чтоб лишь одно-единственное открылось мне в жизни: что такое смерть Христа и что означает его воскресение? Ибо кто может воскреснуть с Христом, если сначала не умрет с ним? Ты скажешь: не глупый ли человек, до сих пор он не знает, что такое воскресение и смерть Господа. Это ведь известно всякой женщине, всякому ребенку, всем и каждому. Конечно, это так, но я тугодум заодно с Павлом, который поет: «Я все вытерпел, чтоб познать его: и силу его воскресения и его страдания».

Письмо это относится к началу шестидесятых годов. Сковороде было тогда около сорока. Он напряженно думал о смысле человеческого существования, о тайне смерти.

Кирилл Лящевецкий умер через пятнадцать лет после их московской встречи. Смерть его своей нелепостью поразила многих современников. У монахов есть правило: читать сидя или в коленопреклоненном состоянии. Черниговский владыка завел для себя обыкновение читать перед сном лежа в постели, как читают люди мирские, привыкшие к комфорту. Во время чтения он задремал. Книга, выпав из рук, сшибла подсвечник, пламя побежало по бумаге, переметнулось на постель. Преосвященный почивал в драгоценном шелковом шлафроке, ткань моментально была охвачена огнем. Очнувшись, он закричал в ужасе, пытался распутать замысловатую шнуровку шлафрока. Но было поздно. В минуту он сделался пылающим факелом.

В философском диалоге Сковороды «Алфавит, или букварь мира» среди множества символических рисунков есть и такой: мотылек летит из тьмы на пламя свечи и сгорает в нем. Даже в мгновенной гибели крошечного создания — ночной эфемериды бездна поучительного! Есть темнота, в которой и без огня все видно, и есть обманчивый свет, грозящий вечным мраком.

Снова Сковорода в Переяславе. Не без удивления узнает странник, что его разыскивал Степан Томара: хочет опять зазвать к себе в Каврай. Мальчик скучает по Григорию, и родитель очень де сожалеет о потере такого отличного учителя. И вообще в

Каврае все для него сделают, лишь бы он забыл обиду и вернулся.

«Нет, нет» — крутил головой Григорий.

Однажды приятель, пригласил его с собою в дальнюю прогулку. Ехали, прихватив в телегу узел со снедью, любовались степными далями. Устав от обилия впечатлений, Григорий растянулся на сене, стал подремывать, потом крепко уснул.

Пробудился он от ночного холода. Стояли на дворе чьей-то усадьбы, странно знакомой. Да никак это Каврай!

Надо же, приятель, подговоренный Томарой, обманом завез его в село, куда он и во сне не желал бы вернуться. Что было делать?

Томары встретили Сковороду как долгожданного родича. Словно совсем другие люди стояли перед ним.

Так и остался он здесь.

И возвращается ветер на круги своя…

ПОЭТ

Опасно жить не останавливаясь. Нужны какие-то передышки, нужно, отложив все попечения, ощутить себя, хоть на время, в совершенном покое, посмотреть на свою жизнь как бы посторонним взглядом: пусть ей, твоей жизни, станет немножко совестно, что так разогналась.

Второе каврайское жительство — долгожданная награда уставшему от скитаний, неустройств и душевной неопределенности Сковороде. Что было бы с ним дальше, кем бы он стал, не будь этих двух с лишним лет необходимейшей передышки?

Выдалось наконец-то и ему время: он мог отлежаться на теплой земле, приглядеться к себе: кто он?

Будто в награду за все прошлые обиды, Каврай теперь расстелился перед ним маленьким раем, и взошла над этой земелькой радостная райская дуга — так называл он радугу… Прошли облака. Радостна дуга сияет. Прошла вся тоска. Свет наш блистает… Ухаживали теперь за ним почти как за ребенком, лишь бы не покидал Васю. Вот ведь каковы оказались Томары! Мог ли предполагать он в них столько любезности?

Эти их любезность и предупредительность своим следствием имели то, что у него вдруг обнаружилось бесценное приобретение — свободное время, не снедаемое тревогой и чувством угнетенности, которые прежде отравляли ему в Каврае почти всякий день и час. Может быть, только теперь он и осознал по-настоящему, насколько это драгоценно — иметь возможность и, главное, уметь быть одному самим с собой и как не хватает этого почти каждому человеку.

И он ходил по безлюдным тропам, садился под деревом, опираясь спиной о жесткую кору ствола.

Ах поля, поля зелены, …

Смотрел и не мог насмотреться, слушал тишину и никак наслушаться не мог. Ах поля, поля зелены, поля, цветами распещренны! Ах долины, яры, круглы могилы, бугры!

Как хорошо! И как он любил все это — тенистый изгиб ручья, холмик посреди поля…

Он завел себе привычку — вставать, как пожилые крестьяне, до солнца. Самый тихий час встречал его за селом. Допевали свое соловьи, полоща горло холодным туманом. Отрывались от остывшей земли первые жаворонки.

Только солнце выникает, пастух овцы выгоняет

И на свою свирель выдает дрожливый грель…

И так — каждый день, и к этом блаженном однообразии, и этой почти в этой почти священной повторяемости тоже был великий покой.

«Пропадайте, думы трудны, — пел Сковорода, — города премноголюдны! А я с хлеба куском умру на месте таком».

Блажен муж, которому открылось, что не его это занятие — выпрашивать, выклянчивать у жизни подарки. Ведь она гораздо щедрее, чем он даже предполагал, и самая, пожалуй, большая ее щедрость — это кусок хлеба, который он может жевать на воле. Кусок хлеба и воля. Лес, поле, трава, говор воды, безмолвное сочувствие природы человеку…«Ничего я не желатель, кроме хлеба да воды, нищета мне есть приятель — давно мыс нею сваты».

«О боже мой, ты мне — град — пел Сковорода. — О боже мой, ты мне — сад! Невинность мне — то цветы, любовь и мир — то плоды. Душа моя есть верба, а ты сси ей вода. Питай мене в сей воде, утешь мене в сей беде».

Два с лишним года было дано Григорию, чтобы ходил на воле и пел. «Здравствуй, мой милый покою! Вовеки ты будешь мой. Добро мне быти с тобою: ты мой век будь, а я твой. О дуброва! О свобода! В тебе я начал мудреть, до тебе моя природа, в тебе хощу и умреть».

Для того чтобы быть мудрым, нужно не только много видеть, читать, узнавать, но нужно еще — и это главное — уметь останавливаться, отдаваться всем своим существом покою. Ведь на бегу невозможно сравнивать, а мудрость есть возможность сравнивать. Сравнивать и избирать лучшее, достойнейшее, Он мог теперь сравнивать, потому что, когда тело неподвижно, мысль стремительна и, ничем не стесненная, делает глубокие нырки в прошлое. Он вспоминал, кем он был, — а кем он только не успел уже побывать, какие роли не успел проиграть! Пастух, бурсак, певчий, скиталец, учитель, сочинитель. Сравнивал, чтобы понять: какое же из всех этих лиц есть его истинное? Или, может быть, это лицо еще не проявилось, и его ждут совсем иные поприща?

«Не хочу за барабаном ити пленять городов, но хочу и штатским саном пугать мелочных чинов…»

Нет, это все не его лица. «Не хочу и паук новых, кроме здравого ума».

Он и прежде знал за собой умение сочинять вирши на тот или иной случай. Но то были старательные поделки

натренированного школяра. Теперь же обнаруживалось в нем совсем иное — то, чего он и не ждал и не предполагал в себе.

Сковорода-поэт предшествует Сковороде-философу. Большинство своих стихотворений он сочинил в пятидесятые и шестидесятые годы XVIII века. Последующие десятилетия — время философской прозы. Однажды, уже на старости лет, Григорий Саввич решил собрать все, что было написано когда-то в каврайские годы, и стихи более позднего времени, а собрав, выделил тридцать стихотворений в отдельный сборник.

Так появился «Сад божественных песней». Некоторые из старых стихов были снабжены авторскими комментариями, в которых указывались обстоятельства и время написания.

Тематический разбор поэтического наследия Сковороды впервые осуществил русский дореволюционный философ Владимир Эрн. «Сад божественных песней», по Эрну, — свидетельство напряженных внутренних борений мыслителя, сборник открывает нам «душу мятущуюся, глубоко скорбную, исполненную воли страстной, хаотической, трудно насытимой». Такая характеристика основана на очень часто встречающихся у Сковороды упоминаниях о «тоске проклятой», злой воле, о некоем беспрерывно мучающем человека бесе скуки и печали. Но, вопервых, лирика Сковороды — это по преимуществу не автобиографическая, лирика. Конечно же, он пишет о себе, когда восклицает в одном стихотворении:

> Ах ты, тоска проклята! О докучлива печаль!
> Грызешь мене измлада, как моль платья, как ржа сталь.
> Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!
> Где ли пойду, все с тобою везде всякий час.
> Ты, как рыба с водою, всегда возле нас.
> Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука.

Но это сказано им не столько о себе и о своем, сколько о человеке вообще, об универсалиях человеческого бытования. Скука и тоска Сковороды здесь — не самоощущение частного лица, не психологические переживания комнатного масштаба и уж, право, вовсе не каприз пресытившейся натуры, «страстной, хаотической, трудно насытимой».

Можно ли и применении к Сковороде говорить о «трудно насытимой» воле, если большинство его каврайских стихотворений недвусмысленно посвящены решительному, добровольному самоограничению, развенчанию «воли», теме нищелюбия?

Не пойду в город богатый. Я буду на полях жить,
Буду век мой коротати, где тихо время бежит…

«Довольство малым» делается едва ли не ведущей темой всей его лирики. «Песнь 18я», целиком посвященная этой теме, от начала до конца построена на контрасте «высоких» и «низких» образов и этим своим параллелизмом активно смыкается с народной песенной традицией.

Ой ты, птичко желтобоко,
Не клади гнезда высоко!
Клади на зеленой травке,
На молоденькой муравке.
От ястреб над головою
Висит, хочет ухватить.
Вашею живет он кровью.
От, от! кохти он острит!
Стоит явор над горою,
Все кивает головою.
Буйны ветры повевают,
Руки явору ламают.
Сих шумит дом от гостей, как кабак, —
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не идет с ума.

Пестрое позорище мира, где правит «суета сует и всяческая суета», получает окончательную оценку в чрезвычайно сильной заключительной строфе — ее можно без всяких оговорок поставить в один ряд с державинским переложением 81го псалма. Сковорода изображает здесь еще один персонаж «мирского театра» — нелицеприятную смерть, чье всепожирающее пламя беспощадным светом озаряет ничтожные земные страсти и вожделения.

Смерте страшна, замашная косой
Ты не щадиш и царских волосов,
Ты не глядиш, где мужик, а где царь, —
Всех жереш так, как солому пошар.
Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чия совесть, как чистый хрусталь…

Перед лицом смерти должны быть переоценены все ценности

дольного мира. Она по только равнодушно уравнивает земную иерархию, не только подчеркивает смехотворность посягательств зарвавшегося человека, она еще и самое справедливость. Ведь не страшна она тому, у кого не может ничего отнять. Отнимется у берущего. И уже отнимается — каждый день, всякий час. Страшный суд, заявленный как итоговая страница всемирной истории, уже и сегодня ежечасно совершается — в плаче, терзаниях, мучительной животной боязни лишиться всего нажитого. Поистине: «Ах ты, мука, люта мука!»

Так под пером Сковороды оформляется парадоксальная диалектика богатства и нищеты. Кто в первую очередь достоин сожаления в этом мире, как не стяжатель, которого ни на минуту не оставляет страх лишиться накопленного?

Возлети на небеса, хоть в версальские леса,
Вздень одежду золотую,
Вздень и шапку хоть царскую,
Когда ты невесел, то всё ты нищ и гол…
Завоюй земный весь шар, будь народам многим царь,
Что тебе то помогает,
Аще внутрь душа рыдает?
Когда ты невесел, то всё ты подл и гол…

Сковорода, как видим, нисколько не преувеличивал, когда, обращаясь к молчаливым собеседникам — Каврайским полям и лесам, ко всей окружающей природе, признавался: «В тебе начал я мудреть». Написать такие стихи, какие он написал тут, можно было, лишь преодолев в себе жизненную неопределенность, поднявшись над всеми испытанными состояниями и выбрав из их множества единственно достойный, отвечающий его духу путь.

Современному читателю стихотворения Сковороды могут показаться слишком архаичными, хотя — для своей эпохи — писал он удивительно просто, много проще, чем, допустим, его современник Тредиаковский. Сковороду-поэта читать трудно потому, что сочинял он на языке, который несколько особняком стоит на литературной карте XVIII века. Это не был русский литературный язык той эпохи, классические формы которого закреплены в творчестве Ломоносова, Сумарокова, Державина. Это не был и украинский литературный язык — его возникновение относится лишь к концу XVIII столетия. Сковорода писал на переходном языке малороссийской книжности своего времени, который иногда называют староукраинским книжным, а иногда славяно-российским языком, потому что при известной доле старославянизмов и украинизмов в словарном составе он

все-таки тяготеет к русской языковой стихии. Дополнительную окраску языку Сковороды придают и обильно используемые им латинизмы — свидетельство академического воспитания. Но ими он пользуется с большим тактом, как правило, лишь для создания сатирических ситуаций.

В первой половине XIX пека, когда на глазах изменился русский литературный язык и широко заявил о своем праве на существование украинский, сложилось весьма критическое отношение к письменности предшествующей эпохи. Речь XVIII века казалась чересчур громоздкой, вычурной, эклектически-безвкусной. В общем-то очень высоко ценивший Сковороду Тарас Шевченко назвал его язык «винегретным».

Сегодня язык, на котором Григорий Сковорода писал свои стихи, басни и прозаические диалоги, нуждается не просто в снисхождении, но и в самой решительной реабилитации. И это вполне будет справедливо. Сковорода-писатель прекрасно чувствовал себя в современной ему языковой стихии, она его нисколько не смущала и не служила помехой для его самовыражения. Переведи мы все его творения на современный русский или современный украинский, и сколько обнаружится невозместимых потерь! Писателя можно любить только в его неповторимости, а значит, через труд, через сопротивление времени, языка, предрассудков, обычаев.

Когда в «Песне 10-й» Сковорода пишет: «всякому голову мучит свой дур» или «с диспут студенту трещит голова», то эти речевые обороты вполне поддаются переводу в современные грамматические формы: «своя дурь» вместо «свой дур» и «от диспутов у студента» вместо «с диспут студенту». Но подобные «исправления» незамедлительно разрушили бы обаяние сковородинской речи.

На том же самом языке говорила и писала целая литературная школа, сейчас почти забытая. У нее была многочисленная аудитория и свои любимые жанры. Сохранились рукописные песенники XVIII века, иногда включающие в себя сотни популярных текстов, которые звучали в самой разнообразной среде и обстановке: на студенческой вечеринке, в помещичьем доме, на сельском торгу. У монастырской ограды. Стихи предназначались исключительно для песенного исполнения, назывались они кантами, псальмами, духовными виршами. Среди их авторов можно было встретить епископа и семинариста, бродячего дьяка и дворянина-меломана. Это было полу-профессиональное-полуфольклорное творчество книжных, грамотных людей.

Киевская академия в становлении и развитии жанра кантов и

псальм сыграла едва ли не решающую роль. Именно в ее стенах эти жанры, перекочевавшие сюда из западнославянских школ и университетов, обрели свою вторую родину. Здесь была разработана чрезвычайно искусная поэтика отечественного канта со множеством ритмических вариантов, с чередованием разносложных строк, с внутренними рифмами, рефренами.

Сковорода не случайно назвал стихотворения своего сборника «песнями». Большинство из них было предназначено не для декламации, а для пения (мелодии к своим стихам, как мы знаем, сочинял он сам). Нотных записей к стихотворениям не сохранилось (кроме одной, очень поздней), но доподлинно известно, что, по крайней мере, три его «песни» еще при жизни автора стали популярны и в народной среде даже приобрели название «сковородинских веснянок». («Веснянки» — один из распространенных жанров народного творчества).

Сковорода из сокровищницы фольклора черпал не только отдельные устоявшиеся образы («Весна люба, ах, пришла! Зима люта, ах, пройшла! Уже сады расцвели и соловьев навели»); многие его стихотворения представляют собой разработку тем, услышанных из уст народа. О «Песне 14й» он пишет, что основой для нее послужила песня «древняя малороссийская о суете и лести мирской». Еще об одном своем стихотворении говорит: «сия песнь есть из древних малороссийских». С веселыми интонациями «веснянок» и «щедривок» часто соседствуют в его лирике мотивы рождественских колядок:

Пастыри мили,
Где вы днесь были,
Где вы бывали,
Что вы видали?..

От норм школьно-книжной поэзии, от канонов силлабики поэт уверенно шел к овладению богатыми возможностями народного тонического стиха, хотя и оставался по преимуществу силлабистом.

Уяснив для себя этот переходный характер его поэтики, можем теперь вернуться и к истории с «Рассуждением о поэзии» — трактатом, который, как мы помним, послужил поводом к изгнанию его автора из стен Переяславского училища. Об этой утерянной рукописи одно лишь можно сказать с точностью — она не была и не могла быть изложением силлаботонической системы Тредиаковского — Ломоносова, как ото утверждается некоторыми современными исследователями. Но могла хотя бы потому, что путь Сковороды-поэта пролегал слишком уж своеобычно: да, в его

стихотворениях подчас обнаруживаются и почти чистый ямб, и почти чистый хорей, но это не было сознательным следованием правилам директированной системы, а явлением стихийным, под стать тому, что мы нередко и в фольклоре видим, с его стихийными ямбами и хореями.

Возможности народного стиха неизмеримо шире, чем предписания силлабики или силлаботоники. Когда на смену одним законам пришли другие, они в какой-то степени гораздо больше ответили характеру и возможностям языка, но не будем забывать, что силлаботоническое законоуложение было не меньшим культурничеством, чем потерпевшее поражение силлабическое. Для национальной стиховой речи ямбы и хореи тоже ведь некое «крепостное право», хотя и очень увлекательное.

Но спрашивается: если утверждения о том, что трактат Сковороды являлся изложением силлаботонической системы, есть всего лишь красивая легенда, то чем же все-таки «Рассуждение» оказалось неприемлемо для переяславского начальства? Не имея под рукой точных данных для решительных выводов, можно к этому вопросу присоединить и еще один (он одновременно явится гипотетическим ответом): а не содержал ли в себе трактат призыва к постижению народной поэзии, ее ритмических богатств, законов ее образности? Ведь такой призыв прямо соответствовал бы поэтическим симпатиям самого Григория Сковороды.

Впрочем, подчеркнем еще раз — это только гипотеза.

1 января 1758 года Василию Томаре исполнилось двенадцать лет. В этот день учитель поздравил мальчика стихотворением, написанным по латыни.

«Круг завершился, начинается новый год. Этот первый день, он году начало и мера. Родиться в день этот, Василий, отрок смышленый, — знак счастливой судьбы…»

Мальчик не напрасно провел столько часов рядом со Сковородой — посвященное ему приветствие он без затруднения мог читать в подлиннике. Вот уж была радость родителям!

Степан Васильевич, беседуя однажды с Григорием, заинтересовался его стихами, а почитав их, сказал: «Друг мой! Бог благословил тебя дарованием духа и слова».

Было это не только признанием Сковороды как поэта, но и, что гораздо важнее, говоря так, Томара тем самым все-таки признавал в нем человека, личность, достойную уважения.

Между тем в каврайской, так неплохо наладившейся жизни предстояли перемены. Подростку пора уже было обучаться дисциплинам, в которых его нынешний наставник совсем не был силен. Родитель прочил Василию военную карьеру.

Дальнейшая судьба Томары младшего достойна того, чтобы кратко на ней остановиться. Сделавшись военным, Василий довольно быстро продвигался по служебной лестнице. В течение ряда лет он исполнял ответственные дипломатические миссии на Кавказе. В будущем его ожидали еще более серьезные задания: по произведении в тайные советники Василий Степанович Томара в конце века был назначен русским послом в Константинополь.

Широта интересов, склонность к художественным и литературным занятиям открыли ему двери в общество самых знаменитых литераторов эпохи. Он познакомился с Державиным, Василием Капнистом, Николаем Львовым, (среди архитектурных работ которого сохранился проект дома для Томары), позднее принимал участие в судьбе юного Гнедича.

Не забывал Томара и своего Григория Саввича. Отправляясь в 1784 году с дипломатическим поручением на Кавказ, он намеревался по дороге свидеться с любимым наставником и даже пригласить его с собою для совместного путешествия. План этот осуществить не удалось, и вместо Сковороды на юг совершила путешествие одна из его философских рукописей, взятая Василием для прочтения. «Бродила она, — писал по этому поводу Сковорода, — даже до Кавказских гор…»

Образ своего благородного каврайского пестуна Василий сберег в душе на всю жизнь. Вот с какой неподдельной грустью обращался он в письме к старому уже философу: «Вспомнишь ты, почтенный друг мой, твоего Василия, по наружности может быть и не несчастнаго, но внутренно более имеющаго нужду в совете, нежели когда был с тобою. О, если бы внушил тебе господь пожить со мною! Если бы ты меня один раз выслушал, узнал, то б не порадовался своим воспитанником. Напрасно ли я тебя желал? Если нет, то одолжи и опиши ко мне, каким образом мог бы я тебя увидеть, страстно любимый мой Сковорода? Прощай и не пожалей еще один раз уделить частицу твоего времени и покоя старому ученику твоему — Василию Тамаре».

В переписке Державина есть в высшей степени интересное сведение об ученике Сковороды: во время второй русско-турецкой войны тот участвовал в морских операциях на Средиземном море и встречался с молодым Наполеоном. Будущий император Франции находился тогда в чине подполковника и пожелал наняться на службу в русскую армию. Запрос его поступил к Томаре, которому показалось, что французский офицер требует для себя слишком высокого чина — русская сторона может предложить ему лишь майорское звание. Такое условие Наполеону не подходило, и контракт (который мог бы поворотить русло европейской истории в совершенно ином направлении!) не

был подписан.

Кажется, как неимоверно далеко это событие от тихих уроков в каврайской усадьбе! Совсем иные миры! Но так ли уж иные? В конце концов, разве не о таких судьбах, как судьба Наполеона, размышлял Сковорода задолго до общечеловеческих и личных потрясений нового века?

> Завоюй земный весь шар, будь народам многим царь,
> Что тебе то помогает. Аще внутрь душа рыдает?..

В КОЛЛЕГИУМЕ

Еще два стихотворных посвящения, включенные позднее Сковородой в «Сад божественных песней», адресованы представителям духовенства — Гервасию Якубовичу и Иоасафу Миткевичу. Оба эти человека сыграли немалую роль в жизни Григория.

Первый был выходцем из известного в Малороссии казацкого рода Якубовичей, многие представители которого в разное время достигали высоких воинских чинов и званий, являясь ревностными носителями и защитниками идеи гетманства. Гервасий предпочел воинской карьере духовный путь, но темперамент защитника старых «отцовских» прав и привилегий остался в нем и под монашеской рясой.

Ярко обнаружилось это, например, в 1751 году, в событиях, последовавших по смерти переяславского епископа Никодима. Местное духовенство решило не ждать назначения нового лица со стороны Синода, а, по древним правилам, самим избрать кандидатов на архиерейское место. В переписке и переговорах, завязавшихся по этому поводу между инициативными переяславцами с одной стороны, а гетманской канцелярией и киевской митрополией — с другой, Гервасий Якубович, тогда консисторский писарь в Переяславе, принял едва ли не самое активное участие: не только редактировал прошения, но и ездил специально в Глухов, чтобы представить в канцелярию подарок, «обещанный от убогой катедры». Выборы были разрешены, и в их результате определились три кандидатуры. Одним из трех стал Иоасаф Миткевич, который в это время игуменствовал в отдаленном Новгороде.

В Синоде на «демократическую» вольность переяславцев посмотрели косо, и епископа прислали своего, «синодального» (это был уже известный нам Иоанн Козлович).

В 1758 году судьба снова свела вместе два имени — Якубовича и Миткевича. К этому времени Иоасаф уже был епископом на соседней с переяславской кафедре, в Белгороде. Миткевич вспомнил отца Гервасия, несколько лет назад хлопотавшего о нем, и исходатайствовал ему место архимандрита белгородского кафедрального монастыря.

Вот по этому-то поводу (отъезд приятеля монаха в новые края) и написал Григорий Сковорода свое напутственное стихотворение «отцу Гервасию Якубопичу»:

Едеш, хочешь пас оставить?

Едь же весел, целый, здравый,
Вудь тебе ветры погодны,
Тихи, жарки, ни холодны;
Щастлив тебе путь везде отсель будь…

Новый епископ постирался обзавестись надежными помощниками, верными и искренними. Никто более не мог подойти ему, как те, что дружески проявили себя во времена, когда это еще не могло быть связано с их стороны с конъюнктурными соображениями. Именно поэтому, должно быть, Иоасаф Миткевич и вызвал к себе отца Гервасия. Именно поэтому же год спустя Якубович шлет в Каврай аналогичный вызов Сковороде. В предварительной беседе с Иоасафом Гервасий «представил ему о Сковороде одобрительнейше». Епископ заочно проникся доверием к провинциальному учителю-отшельнику. В это время была нужда укрепить опытными людьми преподавательский состав харьковского коллегиума. Сковорода — стихотворец и опальный автор нашумевшего «Руководства по поэзии» — отличная кандидатура на должность учителя пиитики! Уж порядочно засиделся он в захолустье, довольно ему таить свой талант в каврайском черноземе. Вышколил молоденького Томару — пора и на широкое поприще!

Так тридцатишестилетний Григорий Сковорода оказался в Харькове.

Харьков — город молодой, а многим древним нос утрет — веселый и щеголеватый город. На холме, над речкой Лопанью — высокие стены крепости-монастыря, многоярусный, трехверхий Покровский собор — там коллегиум. Рядом — шум и чинная деловитость главной губернской улицы. Генерал-губернаторский дом, здание магистрата, различные присутствия, гостиный двор — все свежей постройки, каменной кладки нарядные дома. Над зеленью палисадов — перекличка церковных маковок и колоколен. Внизу, за Лопанью, — заливные луга, мещанские околицы и выселки, дорога на Полтаву и дальше, на Киев.

Под стенами коллегиумного монастыря, на противоположном берегу, разбита ярмарочная площадь. Четыре раза в год затопляет ее пестрая волна торгового люда харьковские ярмарки далеко славны. Студентам до базарных рядов рукой подать. Потому и спуск к мосту прозывается «бурсацким», а пронырливых школяров базарные со зла кличут «раклами». «Налетели раклы — очищать столы».

Каникулярное время — тихое, пустует деревянный барак бурсы, не съехались еще и преподаватели. Училищный корпус

большой, в два этажа; на втором находится «труба» — длинный коридор, по обеим сторонам которого двери аудиторий. Комнаты громадные, а вот печей нету. Зимой тут на чернила не надышишься!

В большой зальной комнате на стенах различные символические изображения. Один из эмблематов представляет существо, подобное черепахе, только с длинным хвостом. На панцире сияет золотом звезда. Коротка и загадочна надпись: «Под сиянием язва». Что бы значил этот язвительный намек?..

В общем-то училище как училище, не хуже, но и не лучше иных. Зато библиотека очень богатая. Новый белгородский епископ выказал себя щедрым покровителем наук: построил под книгохранилище специальные каменные камеры и подарил в пользование учителям и студентам собственное книжное собрание.

Но подлинная гордость библиотеки — три сотни книг, доставшиеся училищу от покойного Стефана Яворского, президента Синода при Петре I. Конечно, в его библиотеке богато представлен Аристотель, первый философский авторитет для киевских ученых старшего поколения, к которым и сам Яворский относился. В хорошем подборе тут античные классики, от Гомера до Сенеки, есть «Иудейская хроника» Иосифа Флавия, множество других исторических трудов, целая библиотека по патристике, работы новоевропейских ученых, поэтов, комментаторов… Отвыкшему от такого царственного обилия книг провинциальному репетитору одно лишь прикосновение к древним, с золотым тиснением корешкам — и то уже радость. А сколько радостей впереди, когда он примется вкушать от этих нежно благоухающих фолиантов!

Но прежде чем тащить под мышками в свой угол старинные тома, необходимо просмотреть одну тоненькую, новую, с казенным названием книжицу — «Инструкция».

«…В сей школе учеников, как малолетних детей, не мучить изустным чтением правил и изъятий, и в них через то склонности к учению с самого начала и обыкновенно навсегда не отнимать; но всемерно стараться познание правил внедрять, в них посредством употребления и упражнении в оных…» Инструкции недурна, метит прямо по зубрению..

А вот еще: «Учеников никогда не бить по щекам, за волосы не рвать, не бить по спине, не штрикать ничем в глаза, в зубы и в грудь…» Тоже метко бьющее правильце!

«Диспуты в прении богословские отправлять каждый месяц…» Ну что ж, пусть, хоть каждую неделю, лишь бы диспуты велись толковые.

…Между тем на училищном дворе замелькали фигуры будущих диспутантов. Интересно, кто из них поступит к нему, слушать пиитику? Ребята загорелые, посвежевшие на родительских и вольных харчах.

Появились не только школяры, по и школьники. (Значения очень многих слов меняются до противоположного: «школьниками» в Харькове XVIII века называли преподавателеи; было и еще одно для них имя — «молодик».)

Среди своих коллег Григорий Сковорода оказался самым молоденьким «молодиком», если не по возрасту, то по стажу. Но объявились и помимо него новички, зазванные в училище все теми же Иоасафом и Гервасием. На место прежнего префекта приехал преподаватель философии Лаврентий Кордет; из Киева прибыл выпускник Академии Михаил Шванский, о котором шла молва как о блестящем знатоке греческого и немецкого языков. Все приветливый, жизнерадостный, остроумный, рвущийся до дела народ! Какая противоположность патриархальному Переяславскому училищу с его замедленным, полусонным бытом!

Итак, порог новой, многообещающей жизни. Весело ступать на него под гомон заполненных аудиторий, под гул соборных колоколов, под смех школьного колокольчика…

Приступив к исполнению новой своей должности в Харьковском училище, Сковорода вскоре столкнулся с проблемой, которая рано или поздно встает перед каждым ищущим и пытливым педагогом. Эту проблему в разные времена по-разному называли, по суть ее всегда остается одной и той же. Всякое ли знание равно необходимо ученику? Следует ли с самых норных шагов обучения ориентироваться на индивидуальные склонности воспитанников? Нужно ли эти склонности выделять и поощрять, создавая вокруг каждого ученика особый режим, особый климат? Или же обучение следует вести иначе, наделяя всех и каждого — во избежание одностороннего развития — равными долями из многих областей знания?

Сложилось на этот счет свое мнение и у него. Оно потом развито им было в целую теорию, не только педагогическую, но и философскую. Вопрос о естественном тяготении человека к тому или иному роду занятий, к определенной форме жизни — вопрос о «сродности» человеческой души — сделался для зрелого Сковороды едва ли не самым насущным, злободневным. Но впервые осмыслялся, прочно входил в круг его раздумий этот вопрос именно теперь, в первый год преподавания в Харьковском коллегиуме.

Что могло быть для него увлекательней и радостней, чем посвящать в тайны пиитики целый класс молодых людей! Он

любил свой предмет, искренне желал, чтобы любовь эта сообщилась сразу многим ученикам. Он открывал им секреты рифмовки. Знакомил с разнообразием ритмических возможностей стихотворной речи. Уводил к истокам европейской поэтической культуры. На уроках разбирались шедевры античных авторов — антологические отрывки из Вергилиевой «Энеиды», фрагменты из Овидия, строфы Горация, греческие эпиграммы, стихотворения средневековых поэтов-латинистов. Рассматривали на занятиях и особенности жанров: поэма, ода, посвящение, кант, басня…

Сковорода учил не только читать стихи, но и писать их. Разве плохо, если каждый из его подростков освоит навыки виршесложения? Пусть не будет среди них второго Ломоносова, малороссийского Пиндара, пусть успехи их будут, по необходимости, скромны — рождественский кант к празднику, рифмованное поздравление товарищу — и этого не так уж мало!

Он и сам, уча их, учился — каждый раз делал для себя маленькие открытия в любимом предмете. И пока был переполнен этим педагогическим восторгом, ничего не замечал вокруг. Но однажды вдруг пригляделся и сделал еще одно открытие, на сей раз крайне неутешительное: а ведь пиитика вовсе не вдохновляет его учеников!

Нет, не то чтобы им всем до единого чужды были образы высокого художества. Кое-кто с очевидным удовольствием входил во вкус предмета, целыми периодами читал на память Вергилия, то и дело подсовыиал щедрому на поощрения наставнику спои домашние опусы. Н большинство-то, большинство!.. Оно на его уроках только присутствовало. Слушали и не внимали, записывали и забывали тут же! А для некоторых — и они едва скрывали это — он в своем упоенном витийствовании был чуть ли не помешанным.

Стоило над чем задуматься! Отрезвляющим образом могло подействовать на него хотя бы воспоминание о собственных ученических годах. А ведь, в сущности, то же самое было и тогда. Почти каждый из его киевских сверстников-бурсаков знал наизусть множество стихотворных строк, но с удовольствием читалось, скандировалось, пелось только свое — игровая скороговорка, песенка из академического подпольного фольклора, рифмованная побасенка, студенческая заумная белиберда, которая читается задом наперед. Все это и не осмыслялось ими как стихи, по было родной, веселой, заразительной стихией, в которой они плескались и барахтались, как утиный выводок в луже.

Там же, где начинались уроки пиитики, где стихи из удовольствия делались наукой, почти все его сверстники

изменялись до неузнаваемости. Он ведь просто забыл обо всем этом — о бесконечных шуточках в адрес учителей-пиитов, о язвительных репликах бурсаков по поводу первого подвернувшегося под руку, имени, ну вот хотя бы в адрес старика Эсхилуса, которому черепаха, сверзясь из когтей летящего орла, проломила череп (так ему и надо, чтоб не морочил молодым людям голову своими скучными трагедиями!).

Да, он, кажется, забыл все это, потому что сам тогда жадно внимал певучей латыни древних стихов, огорчался, слыша рассказ учителя о чудовищно нелепой и назидательной кончине «божественного Эсхила», и, естественно, был совершенно глух к насмешкам, кривлянию и прочим выходкам своих однокашников.

Может быть, действительно, Гомер и Овидий нужны лишь немногим избранным и призванным, а большинству так и следует всегда жить в наивном неведении о бесценных сокровищах человеческой мудрости? Но не слишком ли это было бы грустно — согласиться с подобной несправедливостью?

Можно было ему вспомнить и о другом: как во время службы в храме всякий раз с волнением ожидал он той минуты, когда запоют все сразу, не только на клиросе, где стоял сам он, но и на солее, и в трапезной, и на паперти, если был большой праздник, — запоют «Отче наш» или «Верую».

И всякий раз изумлял этот миг общего согласного запева. Перед ним были простые крестьянские лица, лица малограмотных в большинстве своем людей. И откуда все они знают слова эти, странно похожие и непохожие на обычную деревенскую речь? И отчего поют так сосредоточенно и строго, так радостно и легко, будто печать снята с сердца? Ведь, в сущности, то, что они пели и поют всегда — при венчании, на похоронах, при выгоне скота на первую зеленую потраву, — это те же стихи, только немного иные, без рифм, без четкого ритмического порядка.

И еще можно было вспомнить суровые лица слепцов, бродящих от села к селу, их бесконечные, как степь, песни, которых они ведь никогда не зазубривали, а принимали в себя, в свою жизнь, как вдыхают воздух после грозы.

Или действительно не нужен всем и каждому Вергилий, а если и нужен, то не в принудительном порядке?..

Как-то, готовясь к очередному занятию, он перечитал басни Эзопа. Одна из них — «Волк и козленок» — подсказала мыслям его неожиданный ход. Фригийский насмешник рассказывал здесь, как волк погнался за отставшим от стада козленком. Настигнутая жертва взмолилась: «Сыграй мне на дудке, а я попляшу перед смертью, чтоб не погибнуть мне совсем уж бесславно».

Сковорода взял чистый лист, записал несколько строк по латыни. Параллельно складывались и строки русского варианта. Так работал он часто — на двух языках сразу, в той или иной последовательности. Вот и теперь получалось двуязыкое стихотворение: сначала латинский, потом русский текст. От Эзопова прозаического оригинала осталась лишь сюжетная канва. Зато прибавилось много забавных деталей. Например, на лукавое предложение козленка волк реагирует следующим образом:

«Не знал я сего во мне квалитета»
Волк себе мыслит… Потом минавета
Начал надувать, а плясать Козлятко,
Волка хвалами подмазуя гладко.
Вдруг юрта собак, как вихр, вкруг их стала.
Музиканту з рук и флейта упала.
А dhn как волк раскаиваектся в своей роковой ошибке:
Но лучше ль, козлы справлять до росолу,
Неж заводити музиканску школу?

Мораль, или «приказка», как назвал ее автор, получилась гораздо конкретнее, чем у Эзопа. Сковорода здесь прямо целил в свой пиитический класс:

Не ревнуй о том, что не датно от Бога.
Без бога (знаешь) ни же до порога.
Аще не рожден — не суйся в науку.
Ах! Премного сих вечно впали в муку,
Не многих мати породила к школе.
Хочь ли быть щаслив? — будь сыт в своей доле.

Так в комичной форме вдруг высказалось все, что было для него предметом долгих невеселых раздумий. Видимо, правда, пора и самому себе признаться в неудаче собственных педагогических вожделений, и окружающим дать понять, что он думает о своем классе. Да и в одном ли его классе такое? Не общая ли это беда всего училища? Присмотришься скольким школярам науки оскомину набили, как кислые яблоки-дички? Вот каков плод от древа познания, но каждому он в сладость! Тому бы, глядишь, хворостину в руки и овец пасти — самое милое дело! — а его в пастыри человеков готовят. Другой, право, и видом, и ухватками превосходный мясник, а его ораторскому искусству обучают. То, что Сковорода до сих пор обдумывал про себя, стал он теперь вслух высказывать. Случилось, приехал из

Белгорода в Харьков преосвященный, побывал на уроках в коллегиуме. Григория Саввича епископ приветствовал попросту, как доброго знакомого.

Тут-то Сковорода и показал Иоасафу свою педагогическую басню. Она понравилась преосвященному. И не просто понравилась как басня. Он нашел, что здесь заключено вполне здравое практическое предложение. Зачем зря мучить молодых людей чуждыми им науками?

Многими годами позднее, вспоминая о курьезном училищном эпизоде, Сковорода написал: «Сия о музыканте Волке казка успела до того, что пастырь добрый Иоасаф Миткевич больше 40 отроков и юнош свободил от училищного ига во путь природы их…»

Видимо, среди осчастливленных находились не только неудачливые пииты, но и ученики других классов. Как бы то ни было в деталях, событие явилось весьма необычным, громким. Немало, должно быть, вызвало оно разговоров да пересудов, главными героями которых сделались Миткевич и его литературный советник.

Год пролетел быстро, начались очередные вакации. С теми, кто не был отчислен из училища, Сковорода прощался ненадолго, до осени. Не знал, что и ему самому недавней басней напророчена крутая перемена в судьбе.

К лету из Белгорода пришло дружеское приглашение от любезного отца Гервасия: и он, Гервасий, и преосвященный рады будут, если Сковорода захочет отдохнуть летом при консистории, на монашеском довольствии.

Григорий долго не раздумывал, благо до Белгорода рукой подать. Через два дня он был уже в прохладной келье архимандрита.

Наш друг выглядит молодцом, им здесь весьма довольны, у всех на устах его «Басня Есопова», имевшая столь решительные последствия. От него ждут еще больших успехов на училищном поприще…

А отец Гервасий? Он тоже нисколько не изменился. Может, чуть-чуть лишь сделался более осанист, более сановит, что ли. Впрочем, перемена эта едва заметна, стоит ли на нее обращать внимание, свое и собеседника?

Разговор, который произошел в тот час между двумя приятелями, суть возникшего в его ходе несогласия, — все это изложено биографом без обиняков. Нам остается лишь последовательный пересказ события да несколько уточнений.

Если Григорий ничего не ожидал от встречи, кроме радости общения, то у Гервасия был заранее обдуманный сюжет: он

подготавливал друга к… подарку. Накануне у архимандрита состоялся разговор с Миткевичем. «Таких людей, как Сковорода, нужно беречь, — сказал епископ. — Беречь, как многоценный бисер. Если Григорий примет монашеский постриг, он тем самым еще более привяжется к заботам училища. Да и не будет белой вороной среди учителей-иноков. Главное же — перед ним распахнется лестница к высшим духовным званиям. Подобный иерарх, блистающий ученостью и бескорыстием, украсил бы любую епархию».

Видимо, Гервасий пересказал Сковороде это пожелание епископа в несколько измененной редакции: больший упор был сделан на чисто человеческих преимуществах предстоящего поприща. Впереди честь, слава, изобилие всего — словом жизнь, счастливая. Это и покоробило строптивого учителя пиитики. Какникак у него есть и свое собственное мнение о счастливой жизни, об истинно духовном призвании: «Разве вы хотите, чтоб и я умножил число фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательной, малодовольстве, воздержанности, в лишении всего ненужного, дабы приобресть всенужнейшее, в отвержении всех прихотей, дабы сохранить себя самого в целости, во обуздании самолюбия, дабы удобнее выполнить заповедь любви к ближнему, в искании славы божией, а не славы человеческой».

Неожиданная резкость ответа смутила Гервасия. Он, похоже, понял, что не следовало столь решительно выставлять перед принципиальным бессребреником Сковородой житейские приманки. Дело ведь, право, вовсе не во внешних преимуществах, а в том, что здесь у него будут искренние друзья, здесь он принесет большую пользу церкви.

Но обида оказалась слишком глубокой. Сковорода уже ничего не слышал, ничему не внимал: «Благодарствую за милость, за дружбу, за похвалу; я не заслуживаю ничего сего за непослушание мое к вам…»

Вышла, как тогда говаривали, остуда.

Во весь следующий день Гервасий ни разу не вспомнил о своем госте, как будто тот и не приходил в монастырь. У Сковороды в целом свете никого нет, гол как сокол, — куда он денется! Обиделся? А сам сколько наговорил обидных слов! Да и за что, собственно, ему обижаться? Ему желают одного лишь добра, его тянут за ворот из нищеты, из этой пресловутой диогеновой бочки, которая, право же, скорее годится быть конурою для базарного пса, нежели обиталищем ученого мужа… Ничего, погорячился, повитийствовал и остынет. Не мальчик уже!

Но Сковорода и не думал остывать. Приятель его, видать, не только внешним образом весьма переменился с переяславских времен. Вчера заманивал сладким куском, сегодня всячески показывает, что тебе, бездомному, без этого куска не прожить. Что он, уж но раскаяния ли ждет?..

Ходил гость среди немилых стен, ходил и головой сокрушенно покачивал. А на следующий день решился. Выждав, когда отец Гервасий покажется из помещения своего по монастырским делам, нагнал его — было в голосе искреннее сожаление о случившемся, но была и твердость: «Ваше высокопреподобие, благословите в путь-дорогу».

Гервасий в досаде отвел глаза, но все-таки благословил.

Уходил Сковорода, дышал привычным воздухом свободы. Если и была у него личная обида, вся теперь выветрилась. Он ведь и сам чувствует, что желали ему лучшего — так, как они это лучшее понимают. Но разве не он в конце концов выбирает, что для него лучше?

Тут как раз можно было ему припомнить и пресловутую свою басню о волке-музыканте Вот посмеялись бы его бывшие школяры пииты, узнав, что и учитель их тоже вдруг оказался не у дел!

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Так на тридцать восьмом году жизни он снова оказался без определенных видов на будущее. И в который раз! Тут уж давала знать о себе очевидная закономерность. Что-то было неблагополучно то ли в нем самом, то ли в окружающих обстоятельствах. Иначе отчего бы так круто метало его с, мне га на место?

Уж не сам ли и виноват и во всех своих неурядицах? слишком строптив, не по возрасту взбалмошен, не по чину горд. А гордыня-то, Григорий Саввич, грех великий!

После размолвки с Гервасием Якубовичем бывший учитель пиитики обосновался в окрестностях Белгорода, зазванный в гости помещиком из села Старица. «Старица, — пишет биограф, — было место изобильное лесами, водоточами, удолмими, благоприятствующими глубокому уединению».

Что же, снова возвращается ветер на круги своя?

Нам может показаться странным, что многими людьми позапрошлого иска различие городской и деревенской жизни ощущалось так же, остро, как в наши дни. Что тогда, думается, были на города? Тихие, патриархальные заводи. Но почему-то и в них далеко не каждому было по себе — и это осознавалось не только людьми избранными. К примеру, про Харьков XVIII века известно, что с наступлением летних жар жизнь в нем, как правило, замирала. Утомленные духотой и пылью горожане устремлялись на пасеки и левады. Ощущение, что связи человека с природой уже недостаточно полны, озадачивало многих.

Сковороду жизнь среди природы, как мы знаем, привлекала чем-то более глубинным, нежели заботы о свежем воздухе и натуральной пище.

Для него природа прежде всего была цельным существом, отчетливым оттиском бытийного творчества. И он вновь погрузился в благословенную зеленую тишину, теряясь в её тенистых глубинах.

Впрочем, живя в Старице, он вовсе не держался отшельником. О нем уже знали в округе. Многим хотелось посмотреть на человека, который певал некогда для самой императрицы, а теперь обретается в соседнем имении, — посмотреть и хоть парой слов перекинуться с этим, говорят, грамотеем из грамотеев, а к тому же и оригиналом, позволяющим себе роскошь на каждом шагу отказываться от того, что само в руки просится.

Дожил он здесь остаток лета. Здесь же, как мы предполагаем, провел всю осень и встретил новый, 1761 год. Что мог он

загадывать себе на будущее? Кажется, ничего определенного. А между тем новый год уже готовил для Сковороды событие, едва ли не из самых значительных в его жизни.

Среди новых знакомых, которые появились у него в эти месяцы, был некто отец Петр, протоиерей. Однажды, беседуя с отцом Петром, Сковорода высказался примерно в том духе, что вот хотя и хороша безсуетная сельская жизнь, а иногда не из грусти вспоминаются ему харьковские друзья и лекции, к которым он готовился, как домовитая хозяйка к великому святу. На что собеседник ответил сочувствием и прибавил, между прочим, что и он о жизни училищной несколько осведомлен, поскольку там теперь проходит курс наук его племянник, отрок Михаил.

Сковорода вскоре не удержался все-таки от удовольствия повидаться с харьковскими приятелями. Прожил он в городе неделю, прожил другую, а в коллегиум все, однако, не наведывался, все обходил его стороной. У них там свои заботы, свое течение жизни. Что он теперь для них? Тень человеческая — и только. В лучшем случае, увидев его, они удивятся немножко, немножко посуетятся и похлопочут вокруг, но и тут же снова отвлекутся по своим обычным делам.

И это в лучшем случае, а то еще пойдут унылые расспросы, вздохи по поводу нынешней его неустроенности, сочувственные взгляды, покачивания головой, будто совсем уж он пропащий человек.

А вышло все не так! В аудиторном корпусе буквально навалились на него студенты — прошлогодние пииты и из других классов. Сколько знакомых веселых лиц! И новенькие, те, что никогда его прежде не видели, теперь тоже улыбались, глядя, как «старички» дружно приветствуют бывшего наставника, знаменитого Сковороду, и упрашивают его вернуться в школу.

Как от пчел отмахивался от них довольный Григорий Саввич. Тут как раз вспомнилась ему беседа в Старице с отцом Петром, и он спросил у ребят, а нет ли случайно в их куче-мале Ковалевского Михаила.

— Ковалевский?! Да вот же он!

И стали выталкивать вперед застенчивого подростка. Тот упирался локтями и краснел, как маков цвет. А когда все-таки вытолкнули его, прыснул в кулак и зарделся еще сильней.

Сковорода улыбнулся. Какое веселое, открытое, чистое лицо!

Через тридцать четыре года, вспоминая прожитое, Михаил Иванович Ковалинский так описал эту незабываемую для него минуту: «Сковорода, посмотря на него, возлюбил его, и полюбил до самой смерти».

«Когда я в обычный час выходил из училища и подумал о том, какая мне сегодня предстоит работа, сразу же перед моим взором предстал человек, которого, я думаю, ты знаешь. Как его зовут? Михаилом зовут! Вот ведь какая новость — неожиданно ты стал являться мне, моей душе. Когда я встречаюсь со своими музами, то тут же и ты у меня на уме, и мне кажется, мы вместе наслаждаемся дарами Камеи, вместе шествуем по Геликону. Право же, для полной и истинной дружбы, которая так чудесно может оживить человека к новой жизни и сгладить ее острые углы, дли такой дружбы, оказывается, необходимы не только взаимная чистота помыслов и сродность душ, но еще и сходство занятий… Но признаюсь в своей к тебе благорасположенности: тебя бы я все равно любил, даже если бы ты был совсем чужд нашим музам. Я любил бы тебя за ясность твоей души, за твои порывы ко всему достойному, — не говоря уж про остальное, любил бы, будь ты сама простота, никогда не видавшая, как говорится, аза в глаза. Теперь же, когда я вижу, как ты вместе со мной увлекся греками (стоит ли тебе объяснять, как высоко я их ставлю) и литературою римлян, которая, если отрешиться от ее вульгаризмов и площадных шуточек, в остальном служит только прекрасному и полезному, — когда я вижу все это, то в душе моей утверждается такая любовь к тебе, которая с каждым днем прибывает и крепнет, и для меня уже нет в жизни ничего более необходимого, чем видеться и говорить с тобой и такими, как ты».

«Ты сегодня не пришел в школу, и я страшно скучал по тебе. Хоть бы не подтвердилось то, что я подозреваю! Боюсь, не захворал ли ты, спаси боже, дни-то стоят нездоровые… Прошу, как можно скорей сообщи, что с тобой…»

«Ты меня вчера спросил, когда выходили из храма, почему я улыбнулся и как бы смехом своим тебя приветил… Ты спросил, а я не назвал тебе причину, да и теперь не скажу. Скажу лишь, что смеяться можно было и тогда, можно и теперь. Улыбаясь, я пишу это письмо, и ты, я думаю, читаешь его с улыбкой, и когда мы снова увидимся, боюсь, что ты не сдержишь улыбки. О мудрец мой, ты спрашиваешь… почему я был так весел вчера. Слушай же: потому что я вчера встретился глазами с твоим радостным взором, и я, радуясь, радостью приветствовал того, кто радуется. Если же тебе эта причина моей радости покажется недостаточной, я прибегну к иному средству. Я тебя поражу том же оружием, спросив, почему и сам ты третьего дни приветствовал меня в храме улыбкой? А, мудрец мой, что скажешь? Я ведь от тебя не отстану… И всегда-то радуюсь я и улыбаюсь, лишь доведется свидеться с тобой. Потому что какой же чурбан не взглянет с радостью на счастливого человека и при этом — друга?!»

Что же произошло тогда, что случилось с ними обоими? Мимолетная встреча в стенах училища, два-три незначительных слова, а дальше… Дальше — дружба из дружб, жизнь вдохновенная, чудесное растение, которое раз в столетие, а то и реже, расцветает где-нибудь на земле.

Они жили в одном городе, каждый или почти каждый день встречались в коридоре, в классной комнате, после занятий часто совершали прогулки, уходя иногда далеко за город. Но и этих встреч, такого общения было им мало. Тогда с одной улицы на другую полетели письма. Семьдесят семь писем Сковороды к Михаилу Ковалинскому, сохранившиеся от времени их совместного пребывания в Харьковском училище, не только бесценный материал к биографии философа. Это и самая настоящая поэма о дружбе мыслителя, уже окрепшего в схватках с жизнью, и отрока, путеводительствуемого к добру.

Михаил вместе со своим младшим братом Гришей квартировал в доме у престарелого священника отца Бориса. Сковорода, не имея в городе постоянного жилья, то общежительствовал с другими преподавателями при коллегиуме, то снимал хибару в мещанской части города, за Лопанью. Письмоношами были братец Михаила или еще кто-нибудь из ребят-школяров. Поначалу получалась своего рода эпистолярная игра, условием которой было— писать только на лат…..и; Сковорода тем самым преследовал педагогическую цель — исподволь и как бы шутя научить своего воспитанника свободному владению классическим языком. Но потом обнаружилось, что вовсе не это сугубо практическое назначение переписки составляет ее истинный смысл. И тот и другой уже просто не могли обойтись бел писем.

Многие из нас пережинали нечто подобное: видишь полонена каждый день, шпоришь с ним бесконечно. Но сердце сердцу должно сказать и еще как-то, не только вслух. Уже и беседы не насыщают, уже кажется, что не так, не то сказано, и еще много осталось за душой слов, самых значительных и высоких, настолько значительных и высоких, что их и неудобно было бы произносить вслух, с глазу на глаз. Тогда и приходят на помощь перо и бумага.

«Что до меня, то хоть многое и сказано мною неясно, однако и мыслях я всегда с тобой беседую и всегда вижу тебя перед собой. Если казалось, что мы немножко были друг другом недовольны, то ныне еще большею пылаем любовью. Вот я и решил сегодня поздравить тебя с днем рождения. О, наилюбезнейшая мне душа, трижды желанный Михаил, радуйся!»

«Подобно тому, как музыкальный инструмент, если мы

слушаем его издалека, кажется особенно приятным для нашего слуха, так же и беседа с отсутствующим другом обычно бывает гораздо более значительной, чем если бы он находился рядом. Особенно же с тобою у меня часто получается так, что я тогда больше люблю тебя и жажду побеседовать с тобой, когда ты отсутствуешь и когда без участия тела душа с душою бессловесно и бестелесно собеседует…»

О том, насколько значительным событием для ученика было каждое такое письмо, говорит хотя бы то, как он их берег. Сохранялась буквально каждая весточка от Сковороды. Может быть, что-то и исчезло потом нечаянно, но большинство писем, полученных от учителя за годы жизни в Харькове, Михаил сберег, и они всегда потом, до конца дней, были при нем — и до нас благодаря этому дошли. Не раз они утешали его в трудные дни и минуты, а иногда делались поводом для сожаления о том, что, кажется, навсегда уже миновало. «Вид начертанных твоих писем, — признавался Ковалинский в письме от 1788 года из Петербурга, — возбуждает во мне огонь, пеплом покрываемый, не получая ни движения, ни ветра, ибо я живу в такой стране, где хотя вод и непогод весьма много, но движения и ветров весьма мало, а без сих огонь совершенно потухает».

К сожалению, от харьковских лет сохранились только письма наставника к ученику, и нет второй половины переписки — ответов Михаила. О том, что он обычно писал своему адресату, можно догадаться только отчасти. Тут были стихотворные пробы, вопросы по поводу неясных мест у того или иного античного автора, сообщения о здоровье своем, брата и приятелей, неумелые, но искренние попытки ответить благодарностью на приязнь старшего друга.

Вряд ли эти письма представили бы литературную ценность; подросток только учился — и латыни, и дружбе. Но эти отсутствующие письма очень и очень многое нам бы сегодня подсказали. Прежде всего они подсказали бы хронологические ориентиры переписки, последовательность ее развития. Сейчас из-за отсутствия в сковородинских письмах дат (он, как правило, отмечал лишь день и месяц отправки, не указывая года) письма публикуются в собраниях его сочинений в перетасованном виде, вернее, в той последовательности, в которой Ковалинский их позднее собрал в одну тетрадку.

Да и помимо хронологических уточнений сколько бы мы могли из ответных писем узнать нового — о взаимоотношениях друзей, о лицах, которые чинили препятствия их общению (а такие лица вскоре объявились), о быте коллегиума, вообще о старом Харькове и его обитателях.

Как же развивалась необыкновенная дружба, которой мы, может быть, в первую очередь обязаны тем, что знаем теперь не только Сковороду-мыслителя, в работе его ума, но и Сковороду — «внутреннего человека», в движениях его сердца?

Итак, после краткой встречи с Михаилом Коваленским Григорий Саввич пожелал возвратиться к прежней своей учительской работе.

Для того чтобы закрепить формально свое решение, Сковороде предстояло вновь посетить белгородскую консисторию. Приняли его, несмотря на недавнюю размолвку, вполне хорошо. Григорий Саввич испросил себе в отличие от прежней должности синтаксический класс (где теперь числился Ковалинский). И в этом пошли ему навстречу. Кроме грамматики, он взялся преподавать еще и греческим ялик.

Потекли, училищные будни. Звонки с урока, звонки на урок, ежедневные обязательные маршруты по затопленным осенней грязью улицам: тут и там завязшие в месиве колымаги, хмурые лица обывателей, пьяный ор у питейных домов, расползшееся на грязные лоскутья небо, даже бездомный пес по перебежит дорогу… А для него каждый день. — праздник! Сегодня он увидит своего Михаила, будет разговаривать с ним — целую речь уже заготовил в пути, пока шлепал по грязи чоботами, бормоча про себя и улыбаясь.

Все те нерастраченные, томящиеся под спудом запасы знаний, а главное, радости, восторженности, детской какой-то доверчивости и любви, которые накопил он за долгие годы мытарств, во время затяжных размышлений наедине, когда и поделиться то по настоящему было не с кем, все это начало теперь исходить из него, и он ощущал себя как бы в незримом тепловом облаке.

Годами ведь, он неустанно искал и не обретал души, которую можно было бы сполна одарить собственными приобретениями. «Истинно достойный человек, — думал с грустной усмешкой, встречается реже, чем белая ворона. Сколько диогеновых фонарей понадобится, чтоб его сыскать!»

А вот же встретил такую душу! Да, мальчик еще неопытен, еще нетвердо стоит на ногах, еще часто, должно быть, будет он срываться. Но какая внутренняя чистота, какая внимательность светятся в умных глазах!

И стоит ли вообще обращать внимание на то, что они возрастом и знанием жизни неровня? Двух равных и вообще не сыскать в целом свете. Неравное всем равенство.

Как почти всегда бывает с увлекающимися натурами, любовь здесь решительно идеализировала свой предмет: Михаил во

многих отношениях был просто не готов к тому, что происходило. По собственному признанию, Ковалинский в это время еще «и не смел мыслить, чтоб мог быть достойным дружбы его, хотя любил и удивлялся философской жизни ого и внутренне почитал его».

Подростка сковывали и разница I» возрасте, весьма значительная, и несоответствие опыта, столь ошеломительное, и, как стало постепенно выясняться, еще многое-многое другое. Он и хотел бы ответить чем-то достойным на энтузиазм своего воспитателя, да не находил, чем и как.

Все это было для него как снежный ком на голову. Ведь Сковорода так не похож на остальных учителей, так до странности запальчив и темен в косноязычных своих речах!

С детства Михаилу внушалось, что родился он для счастливой и благодатной доли и что таков уж его жребий здесь, на земле, — не испытывать тягостной нужды, но во всем насущном и желаемом иметь избыток. И в училище часто слышал он от взрослых и сверстников, что учение важно не само по себе а опять, же для того, чтобы шире распахивалась перед молодыми людьми дорога к житейским благам. И он уже привык к тому, что так с ним должно произойти и так все устроится.

И вот стоял перед ним человек, жизнь которого была прямым вызовом и укором его представлениям и мечтам. Он был учен, головокружительно учен, но и он же был почти нищ. И не то чтобы ему не повезло в жизни и он томился своими неудачами. Нет, он, кажется, ко всему остальному еще доволен своей нищетой, тем, что получает ничтожное жалованье и снимает угол в накренившейся мазанке.

Этого Михаил не мог понять. Когда же попытался, робея и сбиваясь, высказать свое недоумение по поводу подобного образа жизни, учитель ответил бурной речью, из которой явствовало, что об истинном счастье молодой человек не имеет совершенно никакого положительного понятия, потому что оно, счастье истинное, ничего общего не имеет с многоядением и вожделением прочих благ, а, наоборот, состоит в добровольном и радостном отвержении земных прихотей, желаний и удовольствий во имя высшего и совершенного блага. Михаил остался в недоумении: что же это за странное счастье такое — ото всего отказываться? Может быть, надо попробовать всего понемножку, а потом уж и отказаться? Ведь сам-то Сковорода тоже но сразу отказался ото всего, если судить хотя бы по его воспоминаниям о придворной капелле…

Как водится, объявились и советчики, у которых исключительное в своем роде попечение Сковороды о Коваленском вызвало раздражение и ревность. Чему там учит

тебя этот выскочка, эта много о себе возомнившая деревенщина? Он и сам без царя в голове, и тебе голову замутит. Сковорода глотает все подряд, без разбора, для него, слыхать, Христос и Эпикур — одно и то же. Для него и темные египетские жрецы — православные люди. С таким поводырем забредешь в какие-нибудь непролазные непроходимости!.. Отчего он с нищетой своей носится как с писаной торбой? Да оттого, что неудачник и ханжа. Из юродства же и мяса не потребляет — яко сущий манихей!

Замечая внутреннее беспокойство ученика, неумело скрываемую настороженность и недоверчивость, учитель недоумевал: «Что же грызет тебя? Может, то, что ты не участвуешь в шумных застольях бражников? Или то, что в пышных дворцах не играешь в кости? Что не скачешь под музыку? Что не щеголяешь в военном мундире с пестрыми бляшками? Кит псе, эти ничтожные вещи тебя приманивают, то ты еще в скопище черни, а не среди мудрецов. Коли ожидаешь благ извне, то о блаженстве твоем можно лишь сожалеть. Не то, не так! Собери внутри себя все свои мысли и там, в самом себе, ищи истинных благ».

Мы не знаем, кто именно были те люди, которые выставляли себя перед Михаилом истинными друзьями и исподволь чернили Григория Саввича. О том, насколько опасен нераспознанный льстец, он пишет Михаилу неоднократно. А если юношу не убеждает его собственное мнение, то вот, пожалуйста, пусть почитает, как о льстецах говорил Плутарх; уж тот-то умел разбираться в человеческих характерах:

«Как монету, так и друга надо испытать заранее, до того, как понадобится его помощь, чтоб узнать его истинное лицо не после того, как мы окажемся в беде… В противном случае мы попадем в положение тех, кто, полакомившись отравленным угощением, наконец, почувствовал, что отрава смертельна…» Это ведь у Плутарха целая наука — «Как ласкателя от друга распознать».

Михаил прислушивался, соглашался, но в душе все еще был дичком. Так много работы задавал его неокрепшему уму новый наставник, так трудно было решиться на окончательный выбор. Где же в конце концов счастье? Там где шелковыми шторами губернаторского дома скользят тени танцующих? Или в подслеповатой каморке, обитатель которой начитывает ему вслух мысли своих любимых мудрецов? За стонами и на чердаке шуршат мыши, а он так воодушевлен, словно сквозь прореху горбатого потолка пролит сюда невидимый чудесный свет…

Странный сон приснился однажды Михаилу. Встал он и полпенни и иге вспомнил до подробностей. Рассказать Григорию

Саввичу? Нет, на это он решиться не мог, потому что сон был как раз про них — учителя и Михаила.

Он поделился переживаниями со стареньким отцом Борисом, Нот что он видел во сне: голубое небо, а в глубине его сияют, распространяя вокруг золотое лучение, Имена трех отроков-мучеников, тех самых которых Навуходоносор хотел сжечь на костре: Анания, Азария, Мисаил. Внизу же на земле стоит Сковорода, и вблизи него он, Михаил, стоит, испытывай необыкновенную радость, легкость, свободу, ясность и чистоту… Что это?

Священник подумал, а затем сказал: «Ах, молодой человек! Слушайтесь вы сего мужа: он послан вам от бога быть ангелом — руководителем и наставником».

Мы должны почувствовать по этому эпизоду, насколько у людей того времени трепетным и внимательным было отношение к сокровенным событиям внутренней жизни, В XVIII веке очень любили толковать сны (хотя церковь по традиции считала это увлечение не только достаточно праздным, но и вредным). Священник выслушивает и дает оценку сну Михаила потому, что, на языке эпохи, это вовсе и не сон, а видение. Сон не духовен, его образы случайны и обманчивы. Видение же содержит в себе символический смысл, оно помогает человеку прозреть, открывает глаза на истинную суть событий его внутренней жизни.

О своем видении Михаил так никогда и не рассказал учителю. За два месяца до смерти Сковороды, во время их последней встречи, Григорий Саввич вдруг с охотою начал говорить о своем детстве и среди многого иного вспомнил о «поле Деире». Очень тогда его, мальчика, волновало это неведомое библейское поле и стоящий посреди него таинственный золотой кумир, которому отказались поклониться три отрока. В Библии много и более чудесных событий, но это — как они, брошенные в «пещь огненную», оказались недосягаемы для пламени и тем самым посрамили золотого тельца и царя Навуходоносора, — это событие ему особенно запомнилось тогда, и всю жизнь пел он про себя чудесный Дамаскинов стих о трех отроках — Анании, Азарии и Мисаиле.

Глубоко пораженный, Коваленский слушал в молчании: вот, значит, откуда его давнишний сон! Значит, они действительно, еще и не встретясь, уже были подготовлены судьбой к встрече и всему, что за ней последовало. Значит, тогда, в Харькове, их пути просто не могли разминуться!

Однажды вечером после занятий в коллегиуме они прогуливались вдвоем по городу. Вышли на окраину. Михаил и не заметил, как за спиной у них оказался кладбищенский ров. В

другое время от одной мысли о такой прогулке ему стало бы не по себе, но теперь, стесняясь Сковороды, он и виду не подавал, что боится, только собственный голос не слушался его, звучал сдавленно.

Светлая тропинка скользила мимо могильных бугров. Отдаленные городские огни печально поблескивали сквозь прорехи в кустарнике.

Вдруг Михаил споткнулся и застыл на месте, не в силах слова вымолвить. «Что такое?» — удивился Сковорода. И, будто не замечая состояния своего спутника, стал объяснять: ничего необыкновенного нет в том, что старый гроб торчит из земли, — просто место тут песчаное и крутое, вот ветры да дожди и оголили почву. Только людское безрассудство и пустые бредни заставляют некоторых верить, что е таких местах по ночам привидения бродят.

Сковорода имел обыкновение брать с собой на прогул ку флейту. Вот и теперь, в таком неприютном месте ему вдруг захотелось поиграть. Он оставил Михаила одного, а сам отошел тихонько в темноту, скрылся где-то за деревьями и наигрывает оттуда. Мнение у него такое, что издали музыку приятнее слушать. «Ну как, — кричит потом, — хорошо ли слышно?» И Михаил отвечает, что да, хорошо.

Такие прогулки к кладбищу совершались не раз и не два. Но только много позднее Ковалинский сообразил, зачем именно этот маршрут избирал лукавый Сковорода. Он его, трусишку, отучал незаметно «от пустых впечатлений, мечтательных страхов».

На летние каникулы Михаил обычно уезжал с братом Гришей к родителям. Но когда наступили вакации 1704 года, он домой не поехал: вместо с учителем они задумали совершить путешествие в Киев. Сковорода в волнении упаковывал свою тощую дорожную суму. Уж кто лучше его сможет всё Михаилу показать и рассказать! Отправились в августе.

Ходить по Киеву со Сковородой — одно удовольствие. Во-первых, необычайно лестно было Ковалинскому, что его учитель такое здесь известное лицо: их останавливали на улице, в академической библиотеке, зазывали в монастырские кельи, и всякий раз, когда Сковорода рекомендовал его своим знакомым — «мой харьковский друг и ученик», — в груди Михаила поигрывала щекочущая струнка тщеславия.

По крутому взвозу пни поднимались с Подола на Андреевскую гору. Легко было дышать над обрывом после долгого подъема и но хотелось отрывать взгляд от заречных пространств, берущих могучий разгон навстречу облакам.

Слева, совсем рядом, сквозь черновой набросок строительных

лесов проступал причудливо-капризный силуэт нового храма, прилепившегося основанием к самой кромке горы. Церковь строилась по плану знаменитого итальянца Растрелли. Не дивно ли, размышлял вслух Сковорода, что вся сия каменная фигура и малого мига не простояла бы, когда б не заключалась в ней незримо, как орех в скорлупе, архитекторова мысль? Велика ли сила мысль? И на ощупь ее не взять, и взвесить невозможно, кажется, самая что ни на есть ничтожность и тщедушность. Но вот ведь какую громаду собой удерживает! А мы только на внешность и пялимся, ей одной и молимся, будто сама по себе она так великолепно устроилась, без модели, чертежа и расчета.

Они посетили Михайловский собор и Софию, и, конечно же, Лавру. Старых знакомых среди монахов у Сковороды оказалось особенно много, был тут и родич его, по имени Иустин.

Почти сразу же принялись приятели увещевать гостя:

— Полно тебе бродить по свету! Пора уже пристать к гавани. Тут известны твои таланты, Лавра примет тебя, аки мати чадо, ты будешь столп церкви и украшение обители.

— Ах, преподобные! — поморщился Сковорода. — Я столпотворения собой умножать не хочу…

И совсем уж грубо, как только в семейной перебранке позволительно, кончил:

— …довольно и вас, столбов неотесанных, в храме божьем!

Старцы, никак ие ожидавшие столь оскорбительного выпада, обиженно замолчали. Но он будто и не заметил:

— Риза, риза! Сколь немногих ты опреподобила, но зато сколь многих очаровала. Мир людей ловит разными сетями — богатством, славою, знакомствами, покровительством, выгодами, утехами. И святынею тоже ловит, и эта сеть всех несчастнее…

Слушатели собрались уже противоречить, да тут ударил колокол, созывая к молитве, в красноречивый обличитель остался один, с недоконченным словом на губах. И Михаил стоял рядом в растерянности от всего случившегося.

Один из монахов — звали его отец Каллистрат — вернулся и произнес, потупив глаза, что если можно, то он хотел бы завтра прогуляться с гостями где-нибудь в окрестностях монастыря.

На другой день они вышли втроем из лаврских ворот и взобрались на пустынную гору. Присели на траву, отец Каллистрат обнял Сковороду за плечи:

— }\ п сам так мыслю, как ты вчера говорил перед нашею братиею, да никогда не смел следовать своим мыслям. Чувствую, что не рожден я к черному наряду, что прельстился одним наружным видом благочестия, не имея сил для истинного подвига. Вот и мучу жизнь мою… Скажи, мудрый муж, могу ли

я…

Сковорода, не дослушав, ответил евангельским изречением: — От человек невозможно, от бога же вся возможна суть.

Внимал Михаил словам старших собеседников, и томило его беспокойство: как же, однако, сам он еще мало понимает, и знает, и разумеет, если столь непросто ему разобраться в том, что все-таки произошло вчера и продолжается сегодня и каковы на самом деле понятия его учителя об истинном благочестии! Или оно в монастырских стенах вообще обитать не может? Но как тогда связать с этим восторженные речи Сковороды о великих мужах, чьи мощи они ходили смотреть в пещеры?

Много недоумевал он прежде, продолжал иногда недоумевать и теперь. Но теперь все-таки было ему легче, потому что он ужо доверился Сковороде, как юный послушник доверяется духовному отцу.

И еще не год, не два — много больше должны были они вместе жевать эту науку наук, не входящую ни в какие школьные курсы, пока ученику не открылся «истинный человек» учителя, о котором Коваленскому суждено было поведать современникам и потомкам в своей книге «Жизнь Григория Сковороды».

В «воспитательном романе», неповторимый сюжет которого складывался тогда в стенах и за стенами Харьковского коллегиума, Сковорода был не только идеальным другом, но и искусным педагогом. Он воспитывал не назиданием, не педантичным резонерством по поводу книжного факта или обиходного события, а самими жизненными ситуациями, в которых они — старший и младший — оказывались оба или каждый отдельно, но так, что это было на виду у другого. Кладбищенские прогулки с игрою на флейте — лишь одна из множества подобных ситуаций. Даже сугубо практические занятия, например овладение языком или навыками к стихотворству, Сковорода старался строить с тем расчетом, чтобы во главе угла оказывалось не формальное умение (хотя именно это на первый взгляд и служило самоцелью), а упражнения юного ума в любомудрии.

Впрочем, формальные навыки скорее пригодились Коваленскому. В 1768 году ему, в то время уже ученику богословского класса, руководство коллегиума поручило преподавать пиитику. А спустя еще четыре года Михаил уезжает за границу в качестве гувернера с двумя сыновьями графа и фельдмаршала Кирилла Григорье вича Разумовского (так семейство Разумовских снова косвенно появляется на жизненном горизонте Сковороды).

Отсутствуют биографические нити, которые бы помогли

объяснить столь резкую перемену в судьбе недавнего школяра. Правда, в некоторых письмах Сковороды к Михаилу высказываются советы и пожелания по поводу предстоящего репетиторства в некоем «дворце», но относится ли это именно к Разумовским?

По крайней мере, вполне очевидно, что сковородин-ский пестун, заканчивая коллегиум, был достаточно незаурядным гуманитарием, чтобы не засидеться долго в Харькове.

Кирилл Разумовский к этому времени уже расстался (не без усилий со стороны новой императрицы) со своей фиктивной ролью малороссийского гетмана. Но, по-преж-нему оставаясь могущественным вельможей, он и многочисленным детям своим загодя хотел обеспечить достаточно надежные места под солнцем. Сопровождаемые Михаилом Ковалинским юные графы Лев и Григорий посетили Геттинген, побывали в Лионе, занимались в учебных заведениях Лозанны, откуда неоднократно наезжали в Женеву. В Женеве жил тогда Вольтер, и для Разумовских достаточной рекомендацией, чтобы встретиться со знаменитым атеистом, могло послужить хотя бы то, что он состоял в переписке с их родителем. Но, к огорчению молодых людей, ветхий философ оказался болен и на записку Разумовских о желании посетить его ответил вежливым отказом.

Находясь в Лозанне, Ковалинский завел знакомство с местным ученым Даниилом Мейнгардом. Швейцарец этот по первому же взгляду поразил его внешним сходством со Сковородой, л далее обнаружилось, что сходство не только внешнее: «Он столько похож был чертами лица, обращением, образом мысли, даром слова на Сковороду, — вспоминал потом Михаил, — что можно было почесть его ближайшим родственником его».

Несколько склонный но природе к мистической экзальтации, Ковалинский немедленно полюбил Мейнгарда, впрочем, пожалуй, даже не его самого, а лишь этот чудесно отражавшийся в его существе образ незабвенного своего харьковского друга.

Швейцарец проникся ответной симпатией к молодому человеку, Михаил сделался частым гостем в прекрасном загородном доме Мейнгарда, где свободно пользовался богатствами громадной библиотеки хозяина.

Когда Ковалинский вернулся на родину й, встретясь с Григорием Саввичем, поведал ему историю своего лозаннского знакомства, того захватывающая эта новость увлекла и взволновала не менее, чем Михайла. Надо же, значит, где-то ходит по земле второй Сковорода, и они ничего не знают друг о друге!

Привыкший в каждом имени или прозвище различать некую символическуго эссенцию целой человеческой жизни, Сковорода и здесь обнаружил возможность для увлекательных объяснений и истолкований. Мейнгард это ведь «мой сад»! и Даниил имя одного из самых проникновенных ветхозаветных тайновидцев! «Мой сад…» Слово это — сад — всегда значило для него образ совершенного мироустройства: здесь было емкое, как золотистый сон, воспоминание о детстве человечества и о своем, таком уже отдаленном детстве, здесь били запахи цветущих яблонь, хоры медоносиц, присутствие труда, сладостного, как творчество. Недаром же и сборник песен своих наименовал он «Садом». Он, Григорий, и родственная ему душа, неизвестный Даниил, — выходит, оба они из одного сокровенного сада! Ну что ж, если существует на свете второй Сковорода, то пусть и он, Сковорода, будет для Михайла вторым Меингардом!

Этот вроде бы полушутя, а в то же время и очень ответственно избранный псевдоним с тех пор то и дело мелькает в переписке ученика и учителя: «Любезнейший Мейнгард где бы Вы не были, на всяком месте люблю я душу Мейнгардову…»

И в ответ:

«Твой друг и брат, слуга и раб, Григорий Варсава Сковорода — Даниил Мейнгард».

Краткая встреча Ковалинского со Сковородой после возвращения из-за границы— последняя перед почти двадцатилетней разлукой. Для дружбы их наступили новые испытания — несравненно более серьезнее, чем в харьковские годы. Тот самый «свет», об опасностях которого Сковорода непрестанно твердил в письмах ученику и в беседах с ним, теперь все чаще стал являться перед Коваленским, и не в образах, не в грезах, а наяву.

Кирилл Григорьевич Разумовский, оставшись очень доволен исполнительностью, проявленной молодым Коваленским за границей, способствовал ему устроиться при канцелярии могущественного Потемкина, с которым бил в приятельских отношениях. Это с его стороны был жест щедрый, хотя и не без задней мысли: свой, надежный человек на бойком бюрократическом поприще мало ли для каких нужд может пригодиться.

С этого времени карьера Ковалинского во многих чертах делается похожей на карьеру каврайского ученика Сковороди — Памлтного нам Василия Томары. Одно время они даже служат вместе: «Томара Василий Степанович здесь со мною, в одной команде, при князе Потемкине, подполковником; и я тоже. Он кланяется Вам».

Как и Томара, Ковалинский заводит знакомства не только в военных, деловых, но и в литературных кругах столицы. Однажды в канцелярию князя Потемкина наведался капитан-поручик Гаврила Романович Державин, будущий «певец Фелицы», который в это время был занят, впрочем, весьма прозаическим долом — клопотами о произведении в полковники. Ковалинский, как глава канцелярии, всячески помогал симпатичному просителю в его предприятии, и, хотя звания Державину так и не дали, они друг друга запомнили, и впоследствии Ковалинский стал вхож в дом знаменитого поэта. Тут, кстати, небезынтересно будет упомянуть благодаря этому знакомству Державин первым из русских литераторов профессионалов заинтересовался личностью и философскими трудами Сковороды: в самом конце XVIII века для его библиотеки была заказана писарская копия с биографии философа, сочиненной Ковалинским.

Приятельские отношения по помогали, однако, поэту в свое время слегка полунамеком, «зацепить» Ковалинского и его супругу: в знаменитой оде «На счастие» есть строка о модных тогда в столице сеансах гипнотизирования «девиц и дам» — строка, имевшая в виду в первую очередь госпожу Ковалинскую.

Итак, бывший мечтательный мальчик теперь, преобразившись во влиятельного чиновного мужа, прочно и широко зажил в северной столице. Он счастливо женился, кроме городского дома, приобрел еще и особняк вблизи Петергофа, с садом и оранжереями, откуда в летние месяцы позволял себе лишь два раза в неделю наведываться в город по должностным делам; он завел обычай расточительного гостеприимства, и кто только не бывал в его доме, вплоть до гастролирующего по Европе магнетизера, который, к удовольствию публики, так искусно усыпил супругу Михаила, что она говорила во сне о вещах и событиях, о коих доныне и понятия не имела; он увлекся, например, и собиранием коллекции древних документов, в чем немало преуспел, ибо мог похвастаться среди знатоков подлинными царскими письмами — Петра I, Алексея Петровича, Екатерины I, Анны Иоанновны; он и в чтении не отставал от новейших веяний — из французов предпочитал Руссо, Боннета, из немцев — Геллерта, из англичан — Юнга; не ускользнули от его глаз и сочинения господ масонов, чужестранных и местных; он изредка и сам отдавал дань музам, впрочем, не бескорыстную (две составленные, им оды и честь Екатерины II были даже опубликованы; он и к наградах не был обойден, получив во благовременье Святого Владимира четвертой, а затем и Анну первой степени, — и все это, похоже, была вполне родственная ему стихия. Ну что ж, что в юности, прогуливаясь по окраинам

тихого городка плечом к плечу с восторженным чудаком-наставником, он мечтал об уединенном поприще для духовного самопостижения, — мало ли кто и о чем мечтает в юности! Когда же и помечтать о светлом, чистом, бескорыстно-пламенном и идеальном, как не в юности!

Значит, зря ты так старался, Григорий Саввич, готовя себе в юном друге единомышленника и духовного сына? Значит, не впрок пошли ему откровения твоих взволнованных речей, устных, письменных?

Теперь Михаил и писал то Сковороде ран и несколько лет, будто выныривая на милым миг ни небытии, да и писал не о главном: посылаете подарки, такие-то и такие-то.

Лишь иногда прорывалось что-то:

«Я пустился паки в здешнее море, да удобнее к пристани уединения достигну. Все прискучает. И великая, и славная, и дивная — суть ничто для сердца человеческого».

Аа, вот и затосковал мальчик! Но зачем же тогда «паки» в море пустился, если по берегу тоскуешь?

Опять молчал Петербург — долгих четыре года. Но каким же праздником для Григория Саввича было следующее письмо! «Мне крайне хочется, писал Михаил, — купить в украинских сторонах место, по склонности и по любви моей естественной к тихому провожденею жизни… Если бы сие удалось, то, удалясь от всего, уединился бы и просил бы Вас разделить остаток жизни вместе».

Выходит, не напрасно все-таки они встретились на земле, и не на каменистую почву сеял сеятель семена свои!

Но потом опять два года не было от Ковалинского вестей. И ждал учитель, и уставал ждать, и обижался, и обижаться уставал. А вдруг оказалось, что обижаться-то было грех.

«Теперь все мои привязанности к столице и большому свету кончились: я лишился сына семилетнего, который один был у меня и скончался сего марта, 26го числа. Он составлял привязанность к службе и здешнему пребыванию. Без него все сие не нужно. Скорбь моя служит мне руководством к простоте жизни, которую я всегда внутренне любил, при всех моих заблуждениях разума. Я осматриваюсь, как проснувшийся от глубокого сна. Ах, друг мой! Я часто привожу на память тихия и безмятежныя времена молодых лет, которых цену, доброту и красоту отношу к дружбе твоей».

И опять напоминал Михаил, что не оставляет его мысль о покупке какого-нибудь именьица в местах, где обитает мы но Сковорода, и что вроде бы уже приискал он деревню и Харьковском наместничестве, да не состоялась из за интриг соседних помещиков.

А через полгода — весть о новом плане: «Я покупаю у Шиловского Николая Романовича село Кунее, в Изюмской округе. Сказуют, что места хорошие там; а ты бы еще собою мне сделал оныя прекрасными».

Но и этот план не осуществился.

Увидеться они смогли только на три месяца до смерти Григории Саввича. Но об этой встрече, о поздней но не смотря ни на что, плодоносной осени их взаимной дружбы пока рассказывать рано, потому что и так слишком далеко ужо мы отошли от стен Харьковского училища.

Л и этих стенах в 1764 году (как раз накануне совместного путешествия учителя и ученика в Киев) произошла события, в результате которых Григорий Саввич вынужден был вторично оставить преподавательское поприще.

Что на этот раз явилось основной причиной его ухода, сказать трудно. Однако вероятнее всего, что очередной конфликт разгорелся как раз по поводу взаимоотношений Сковороды и Ковалевского. Они были вызывающе незаурядными, эти взаимоотношения, а потому не могли рано или поздно не дать обильную пищу для всякого рода недоброжелателей и завистников.

Чем возвышенней дружба, тем тяжелее нести этот дар. «Что ж делать? — с грустью обратился однажды Сковорода к своему Михаилу. — Такова людская чернь: честолюбива, самолюбива, раздражительна и, что хуже всего, лжива и завистлива. Ты не сможешь найти ни одного друга, не приобретя сразу же и двух-трех врагов».

НАЧАЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Существует предание (апокрифического характера), что с харьковским губернатором Евдокимом Алексеевичем Щербининым Сковорода познакомился следующим оригинальным образом. Щербинин будто бы проезжал по городской улице. Кучер вдруг придержал лошадей и покапал ему на человека, сидевшего за обочиной, прямо на земле.

— Вон он — Сковорода.

Губернатор давно желал поглядеть на человека, о котором столько велось вокруг разговоров. Вот и случай удобный.

— Ну-ка, подзови! — бросил он адъютанту.

Тот, перескочив канавку, подбежал к невозмутимо сидящему все в той же позе Григорию Саввичу.

— Вас требует к себе его превосходительство! Какое превосходительство?

— Господин губернатор.

— Губернатор, задумался Григорий Саввич и помотал головой. Передай, что мы не знакомы.

Адъютант потоптался, не находя, что возразить, потом отбежал к коляске. Но через минуту вернулся.

— Вас просит к себе Евдоким Алексеевич Щербинин.

— Аа… — добродушно кивнул Сковорода, приподнимаясь. Слыхал о нем. Говорят, добрый человек и музыкант отличный.

И пошел знакомиться.

Познакомимся и мы с харьковским губернатором.

Евдоким Щербинин был одним из тех исполнительных военачальников екатерининской эпохи, на плечи которых легла хлопотливая задача — отлаживать механизм управления на местах, а значит, непосредственно осуществлять абсолютистский крепостнический курс Екатерины II. Вверенная под его начало губерния была в этом отношении одной из самых непростых. Достаточно сказать, что она соседствовала с Запорожской Сечью, и Щербинину приходилось вести многолетние порубежные распри с вольнолюбивым воинством — в частности, с его последним атаманом Петром Калнышевским.

Но и помимо тяжб с запорожцами, было у губернатора Щербинина немало хлопот. Сколько энергии отнимал один лишь Харьков! Надо было придать ему вид губернского центра, а сделать это оказалось не так-то просто. Город построили на болотистом месте — значит, требовалось прорывать каналы, а попросту говоря, канавы для стока воды. Нужно было сообщить порядок стихийной застройке разбить все улицы по единому

плану. Нужно было эти улицы заново обстраивать. Наконец, приходилось вести громадную канцелярскую переписку; и даже это, как ни странно, отнимало у Щербинина массу времени, потому что составление всевозможных доношений, рапортов, приказов и реляций было, по сведениям современников, его коньком, и он такую работу старался но возможности делать, сам, не передоверяя ее писарям.

Вот и еще новая забота — объявился в его губернии… философ! Да и не простой философ, а весьма странный странствующий, не прикрепленный ни к какому сословию или званию.

В философии Евдоким Алексеевич, можно предполагать, был не особенно силен. Но практический опыт общения с людьми самого разного социального состава у него был предостаточный. Это видно даже из краткого описания его встречи со Сковородой, которое приводит в «Житии» Ковалинский. (Встреча такая во благовременье, действительно, состоялась, независимо от того, предваряло ее или нет апокрифическое уличное знакомство.)

Судя по первому же вопросу, заданному Щербининым Сковороде, знакомство произошло уже после того, как Григорий Саввич вторично оставил коллегиум.

«— Честной человек! спросил губернатор. Для чего не возьмешь ты себе никакого известного состояния?»

(В этой формулировке, одновременно обтекаемой и прямолинейной, упорядочивающая, регламентирующая натура екатерининского чиновника обнаруживает себя вполне отчетливо.)

И вот достойный, поистине философский ответ: «Милостивый государь!.. Свет подобен театру: чтоб представить на театре игру с успехом и похвалою, то берут роли по способностям. Действующее лицо на театре не по знатности роли, но за удачность игры вообще похваляется. Я долго рассуждал о сем и по многом испытании себя увидел, что но могу представит! на театре света никакого лица удачно, кроме низкаго, простаго, беспечнаго, уедненаго: и сию ролю выбрал, взял и доволен».

Губернатору отпет поправился. Обратись к лицам, присутствовавшим при беседе, он произнес:

«— Вот умной человек! Он прямо щастлив; меньше было бы на свете дурачеств и неудовольствий, если бы люди так мыслили».

Встреча произошла в губернаторском доме, И, похоже, во время приема или на балу, то есть в обстановке, несколько чрезмерной для гостя своим светским накалом. (Известно, что на домашних торжествах у Щербинина никогда не обходилось без

музыкантов и хора, а заздравные тосты сопровождались пушечной канонадой.) В этом контексте «театральное» сравнение Сковороды как нельзя более уместно.

Но Щербинину все таки показалось, что собеседник о чем то самом главном умолчал. И, отведя Григория Саввича и сторонку, он надает ему еще вопрос. Фактически это тот же самый же вопрос, только иначе сформулирован им.

«— Но, друг мои!., может быть, ты имеешь способности к другим состояниям, в общежитии полезным, да привычка, мнение, предуверение…»

Сковорода, не дослушав, прервал:

«— Если бы я почувствовал сего дня, что могу без робости рубить турков, то с сего же дня привязал бы я гусарскую саблю и, надев кивер, пошел бы служить в войско. Труд по врожденной склонности есть удовольствие. Пес бережет стадо день и ночь по врожденной любви и терзает волка по врожденной склонности, несмотря на то, что и сам подвергается опасности быть растерзан от хищников. Ни конь, ни свинья не сделают сего, понеже не имеют природы к тому…»

Не шокировал ли Щербинина простонародный тон ответа? Нужна ли была ему к этой импровизированной басне еще и мораль? Он вроде бы и так понял. Понял хотя бы то, что Сковорода ничего социально опасного, ничего, так сказать, «запорожского» от него, Щербинина, за душой не утаивает. Что никому он докучать не собирается и досаждать не намерен, но что и ему докучать ни подобными расспросами, ни чрезмерной опекой не следует.

С этой встречи, по свидетельству Коваленского, закрепились между ними приятельские отношения. Вряд ли сторонящийся шумных компаний Григорий Саввич особо злоупотреблял приглашением губернатора «ходить к нему почаще». Но тот нет-нет да и вспоминал о «безработном» философе, пока в 1766 году не представился удобный случай определить Сковороду к занятиям «по врожденной склонности».

Тогда как раз вышел указ Екатерины II об учреждении в Харькове особых «прибавочных классов», которые предназначались для обучения в них дворянской молодежи. Эти классы территориально и организационно должны были примкнуть к коллегиуму. Указ преследовал целью значительную секуляризацию образовательного дела в стране. 13 курсе обучения на первое место решительно выдвигались «светские» дисциплины — математика, геометрия, география, история, инженерное и военное дело, современные европейские языки, архитектура и живопись и, наконец, хореография. Была и еще

одна дисциплина — катехизис, но именовалась она здесь в духе времени — «курс добронравия». Катехизис — для семинаристов, детям дворянским более приличествует «курс добронравия».

Создание прибавочных классов при Харьковском коллегиуме было прямой обязанностью Щербинина. Он следил за строительством дополнительных помещений, сам руководил набором учителей. «Добронравие» губернатор предложил читать Сковороде. Григорий Саввич увлекся предложением, составил план курса и тут же написал вступительную лекцию, назвав ее «Начальная дверь ко христианскому добронравию».

Между тем дело с открытием классов затянулось.

У харьковского губернатора обнаружился весьма опасный и могущественный соперник — новый белгородский епископ Порфирий Крайский (он занял место умершего Миткевича). «Светская» линия преподавания, нашедшая в лице Щербинина активного проводника, была встречена Порфирием с явной враждебностью.

Уже первые действия Щербинина по организации прибавочных классов вызвали целый поток епископских писем: в Синод — с жалобами, в харьковскую губернскую канцелярию — с запретами, в ректорат подведомственного Порфирию коллегиума — с командами.

Использование помещений коллегиума под новые классы запретить! Дом, который Щербинин уже собрался заселить дворянскими детьми, сломать! Три тысячи рублей, которые ассигнованы на нужды прибавочных классов, разделить поровну между классами и училищем!

Что там за «курс добронравия» затеян? Кто назначен его читать? Почему учителем заявлено светское лицо, а не монах?

Так Григорий Саввич оказался втянут в распри между «сильными мира сего»: в очередном письме в Харьков Крайский затребовал, чтобы ему были присланы лекции, которые собирается читать господин Сковорода. «Начальная дверь» отбыла в Белгород.

Конечно, при такой ситуации лекция будущего учителя добронравия заранее была обречена на самую безжалостную критику. Крайский видит в нем губернаторского ставленника. Нот он и отыграется на нем, не имея возможности отыграться на Губернаторе.

«Начальная дверь», в сущности, вовсе не была катехизисом ни по форме, ни по задаче своей, хотя и содержала и качестве заявки разбор десятисловия Моисея. «Начальную дверь» можно рассматривать единственно лишь как введение и философию самого Сковороды. Здесь намечены все главные темы книг,

которые он напишет позднее, в самые бурные и плодотворные десятилетия своей жизни: проблема двух натур — «видимой» и «невидимой»; проблема самопознания, счастья; вопрос о преемственности мировых культур. Тезисы всегда уязвимы. Они только называют тему. Подразумевается, что доказательства последуют потом. Разоблачать тезисы тем более легко, что они еще не облечены в одежду фактов.

Порфирий и сделал то, что было легко сделать. Автор «Начальной двери» называет бога «натурой», «природой»? Следовательно, он пантеист! Именует обряды «церемониями»? Да он опасный еретик!

Так делалось во все времена, с тех пор как существует письменность: берется одна какая-нибудь мысль и, вырванная из своей родной среды, препарированная, подвергается осмеянию и разоблачению. Такой метод критики неизменно успешен. Такая критика — гробовщик живой, текучей, прорастающей мысли. Для нее не существует закона порядочности, состоящего в том, что слово правомерно рассматривать только в контексте других слов, в их узлах и отсветах.

Сковорода в «Начальной двери» приводит вполне очевидные сведения (они сделались вполне очевидными уже в работах византийца, писавшего под именем Дионисий Ареопагит), что у разных народов в разные времена было очень много имен для обозначения понятия «бог»: натура, бытие, вечность, время, судьба, необходимость, фортуна. У христиан: «дух, царь, господь, отец, ум, истина»… Причем оговаривалось, что каждое из этих значений не охватывает полностью определяемого им понятия.

Из приведенного перечня критик захотел выделить только одно значение: бог — натура. И тогда действительно получалось, что человек, признавший такое значение правомочным, — пантеист.

Впрочем, если бы «Начальная дверь» и не была поставлена под подозрение, Сковорода все равно не смог бы сразу же приступить к чтению своего курса. Открытие прибавочных классов отложилось на два с половиной года. Занятия в них начались лишь в 1768 году, с февраля месяца.

Но и после их открытия Порфирий Крайский не сдался. Семинаристы посещают лекции у «прибавочных»? Надо всячески препятствовать этому. Пусть каждый из них, прежде чем бегать на соблазнительные уроки, обзаведется специальным на то разрешением в коллегиуме. А оный пусть как следует стреноживает ретивцев!

Щербинин в очередной раз пожаловался на Крайского в Петербург. Синод направил белгородскому владыке специальное

письмо, в котором ему рекомендовалось занять более сдержанную позицию в отношении к «прибавочным» и никоим образом, ни явно, ни тайно, не чинить препятствий делу, осуществляемому по высочайшему ее императорского величества благоволению.

Беспрерывные, в течение нескольких лет, ожесточенные тяжбы вконец утомили экспансивного Порфирия. Видимо, не последнюю роль сыграли и его постоянные схватки с содержимым собственного винного подвала. 8 июля 1768 года Крайский скончался.

За день до его смерти в Харькове, в губернской канцелярии, чиновник Николай Выродов писал от лица Сковороды доношение на имя генерал-губернатора Щербинина:

«Я пред сим находился в здешнем коллегиумном монастыре учителем школы пиитики, ныне же осведомился, что надобность есть во вновь прибавочных здесь классах в учителе для толкования катехизиса, то к сим трудам желание имею быть того катехизиса учителем. Сего ради Вашего превосходительства прошу об определении в те классы в учителя и о произведении жалованья в год пятьдесят рублев з свободною квартирою учинить рассмотрение.

К сему доношению учитель Григории Сковорода руку приложил июля 7 дня 1768 года».

В день смерти своего противника Щербинин утвердил Сковороду в новой должности.

Теперь губернатору предстояло довершить исполнение еще одной, более сложной задачи. Нужно было, чтоб коллегиум возглавило лицо, дружественное по отношению к прибавочным классам, симпатизирующее новому образовательному курсу. Такое лицо имелось — игумен Святогорского о монастыря, бывший ректор коллегиума и Преподаватель философия Лаврентий Кордет, еще в 1765 году по интриге Крайского отосланный из училища в захолустную обитель на берегу Северского Донца.

Попытки к возвращению Кордета губернатор предпринимал и раньше, но Крайский вел себя очень искусно: в официальных бумагах соглашаясь со Щербининым, исподволь делал все возможное, чтобы заморозить дело.

Сковорода был дружен с Лаврентием. Приятельские отношения между ними возникли еще в первый год пребывания Григория Саввича в коллегиуме. Сохранилось письмо, написанное Сковородой вскоре после отъезда Кордета в монастырь. Оно свидетельствует о том, насколько высоко ценил Григорий Саввич подвергшегося опале коллегу: «Непрестанно в школах, в храмах проповедывал, наставлял непросвещенную, свецкими мнениями

ослепленную юность студентскую словом и житием… везде и всегда, аки гром гремел о согласии и конкордии». (Здесь игра слов: «Кордет» в переводе с латинского — сердечный.)

Далее в письме перечислены разнообразнейшие познания Кордета — в экономике, географии, математике, — его способность к теоретическому мышлению и одновременно с этим большой талант практического действования; «о философских ого суптильностях, даже до четвертого неба проницающих, нет чего уже и говорить». Кордет действительно был монахом, резко выделяющимся из своей среды. Он состоял членом географического товарищества при Московском университете, принимал участие в составлении географического словаря, работа над которым была предпринята по инициативе Ломоносова. В личной библиотеке Кордета был внушительный подбор научно-естественной литературы: описания различных областей страны, атласы, географические справочники и словари. Это нетрадиционное сочетание в одном лице подвижнического призвания и ярко выраженной тяги к «внешним» наукам было по тем временам еще внове и многих могло не только шокировать, но и возмущать.

Но именно такой человек и требовался Щербинину. Спустя два года после смерти Крайского Лаврентий Кордет был возвращен в Харьков и занял приготовленное для него ректорское место в коллегиуме.

Однако Сковороду он здесь уже не застал.

Сковорода снова где-то странствовал. Причиной, вынудившей его — в третий уже раз! — покинуть Харьков, была все та же, казалось бы, уже реабилитированная, «Начальная дверь».

До чего же прихотливо иногда складывались его отношения с современниками! Хотя бы с этими двумя — Лаврентием Кордетом и Порфирием Крайским. Первый был другом Григория Саввича, второй — очевидным недоброжелателем. И в то же время в чем-то существенном Сковорода неожиданно оказывался едва ли не «союзником» своего гонителя и чуть ли не антиподом друга.

Когда начались занятия в прибавочных классах, Григорий Саввич оказался в атмосфере, весьма для него трудной и даже неестественной.

Нет, Сковорода никогда не был высокомерен и брезглив (вспомним его характеристику Кордета) по отношению к практическому опыту человечества, нашедшему выражение в самых разнообразных специальных дисциплинах и областях знания. Наоборот, он с интересом присматривался к тому, как и куда движутся в своем развитии «точные» науки. Некоторые исследователи приводят в качестве примера такой

заинтересованности мнения, которые Сковорода высказывал об астрономии — в частности, о теории Коперника. Но тут, однако, все обстояло гораздо сложнее, в том числе и в случае с Коперником. Во первых, говорить с повышенным энтузиазмом о том, что он «знал Коперника!» и пропагандировал его открытия, — весьма сомнительная услуга Сковороде, хотя бы потому, что Коперника в России в на Украине неплохо знали уже и в XVII веке, когда появились у нас первые переводные изложения системы польского ученого. А Во вторых, в философских произведениях Сковороды слишком уж много высказываний о точных науках — в частности, об астрономии, которые по первому впечатлению вполне, так сказать, «ретроградны».

«Я и сам часто удивляюсь, — говорит участник одного из диалогов Сковороды («Разговор пяти путников»), — что мы в посторонних околичностях чрезчур любопытны, рачителны и проницателны: измерили море, землю, воздух и небеса и обезпокоили брюхо земное ради металлов, размежевали планеты, доискались а луне гор, рек и городов, нашли закомплетных миров неисчетное множество, строим непонятные машины, засыпаем бездны, восхищаем и привлекаем стремления водных, чтоденно новыя опыты и дикия изобретения.

Боже мой, чего не умеем, чего не можем!»

Но «математика, медицина, физика, механика, музыка с своими буими сестрами, чем изобилнее их вкушаем, тем пуще палит сердце паше голод и жажда, а грубая наша остолбенелость не может догадаться, что все они суть служанки при госпоже и хвост при своей голове, без которой весь тулуб (туловище. — 10. Л.), недействителен».

И в этом, и во множестве других высказываний Сковороды — тревога: не слишком ли точные науки кичатся своим всемогуществом и универсальностью, своей громко афишируемой способностью сделать человека окончательно счастливым?

«Проповедует о щастии историк, благовестит химик, возвещает путь щастия физик, логик, грамматик, землемер, воин, откупщик, часовщик, знатный и подлый, богат и убог, живый и мертвый… Все на седалище учителей сели; каждый себе науку сию присвоил.

Но их ли дело учить, судить, знать о блаженстве?»

Нет, полагает он, не их. Более того, каждая из этих почтенных областей знания может обратиться в пагубу человеку и часто уже обращалась, потому что чем самозабвеннее уходит он в познание внешнего мира, тем все более второстепенной становится для пего забота о познании самого себя.

В XVIII веке наш отечественный мыслитель решительно выступал против односторонности в познании. А для этого и ему приходилось быть односторонним: «Брось Коперниковски сферы. Глянь в сердечный пещеры!» «Я наук не хулю», — вынужден был оправдываться Сковорода, обращаясь не столько к современникам, сколько к потомкам. Он лишь требовал меры, трезвости, преимущественного внимания человека к духовным проблемам.

Теперь мы можем отчасти понять, каким должно было быть его самочувствие, когда он оказался в прибавочных классах. Ведь курс доброправия — он не мог не заметить этого сразу — был в подобной обстановке не более чем формальностью, реверансом перед традициями старой «гуманитарной» школы.

Отвечать формальностью на формальность — читать в таких вот условиях добропорядочный, старомодный катехизис, с невозмутимым видом отбыть положенные часы и тихонько отойти в сторону, — это мог бы сделать кто-нибудь другой, только не Сковорода.

Здесь, как и везде, он хотел быть свободным от всяческой формальности. Если невозможна свобода внешняя, то возможна внутренняя. А она состоит в том, чтобы говорить слушателям свое, хотя бы и на их языке. Так ведь и всегда изъясняется истина — на языке тех, кому она себя хочет открыть.

Вот и замелькали в его лекциях обороты и сравнения, употребление которых было потом поставлено ему в вину.

Бога он сравнивал с механиком, который следит за работой часового механизма на башне. Или с математиком и геометром, что «непрестанно в пропорциях и размерах упражняется». Обряды именовал церемониями, а церковь — камердинером вместо отсутствующего господина. Об истине говорил, что она является толпе под маскарадной личиной. Конечно, для механических, математических и танцевальных умов сравнения такого рода как раз были по вкусу. Этот маневр Сковороды на современном филологическом языке называется «приемом остранения»: общеизвестная мысль подается в новом, дерзком, подчас изменяющем ее до неузнаваемости обличье.

Но вряд ли такие его новации могли прийтись по вкусу тем, кто считал, что обряжать богословие в ярмарочные одежки — занятие непристойное.

Видимо, в итоге состоялось какое-то публичное обсуждение и осуждение, судя по косвенным жалобам, звучащим в письмах Сковороды тех лет.

В апреле 1769) года Григорий Саввич получил жалованье за прочитанные в течение полугода лекции —23 рубля. Это было

последнее жалованье в его жизни.

ХАРЬКОВСКИЕ ПОБАСЕНКИ

На сорок пятом, а может, на сорок шестом или сорок седьмом году жизни своей — словом, трудно сказать, когда именно, но однажды Григорий Саввич решил… жениться.

Хватит скитаться по свету бобылем, без угла и верной супруги, погулял казак!

Сам ли он так круто собрался поворотить свою судьбу или же принужден был к тому обстоятельствами, выяснить теперь непросто. Но скорее всего не сам, а «подбил» его на столь решительный шаг один молодой харьковский литератор.

Вот, впрочем, как обстояло дело. Видимо, после каких-то очередных городских передряг в невезений Григорий Саввич, что называется, очертя голову, ринулся по протоптанным тропам на волю. Гуляя по Харьковщине, выбрел он к некой обитаемой юдоли, нарекавшейся Валковскими хуторами. Хутора как хутора, погостил — и дальше бы. Но получилась тут проволочка: как перепел, угодил почтенный странник в коварную сеть.

В одном из Валковских хуторов проживал тогда пожилой человек, говаривали, что отставной майор.

И была у майора дочь…

«Наконец-то! — должно быть, подумает кто-нибудь из читателей. — Наконец-то автор приступает к самой волнующей теме».

И легко понять такого читателя. Какая же современная биография знаменитого лица обходится без «любовной темы»? Читая самые разные биографии, мы все как-то уже свыклись с мыслью, что незаурядный человек и в любви незауряден, что тут у него непременно что-нибудь сверхобычное, не такое, как у всех: оглушительные, иссушающие душу страсти, пламенные безответные письма, демонические сердечные катастрофы.

Григорий Саввич Сковорода однажды высказал прекрасное по доверительности и чистосердечию признание в том, с каким чувством относится он к одной из своих любимых книг:

«…сия прекраснейшая для меня книга над всеми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную жажду и алчбу водой и хлебом сладчайшей меда и сота божьей правды и истины, и чувствую особливую мою к ней природу…

Самые праздные в ной тонкости для меня кажутся очень важными: так всегда думает влюбившийся… Чем было глубочае и безлюднее уединение мое, тем щастливее сожительство с нею, возлюбленною в женах…»

Сказанное, как мы видим, гораздо шире по значению, чем

утонченное самонаблюдение книжника. Здесь ведь говорится вообще о любви, о том, что Сковорода понимал под этим ответственнейшим из слов, к каким событиям своей жизни он в первую очередь это слово относил. И никак нельзя отказать ему в достаточном знании затронутого предмета, если мы видим, с какой решительностью он отталкивается от одного понимания слова «любовь» в пользу другого, противоположного первому.

Кажется, после такого признания и саму правомочность «любовной темы» относительно нашего героя можно было бы поставить под сомнение.

Но не будем торопиться, доскажем сначала историю, которая случилась на Валковских хуторах.

Итак, была у майора дочь. О существовании ее харьковский беглец вряд ли даже и подозревал, познакомившись в один прекрасный день с пожилым майором — провинциальным любителем городских новостей.

— А вот и дочка моя, — объявил ему майор, когда в хату, где они сидели и беседовали, щебетуньей-ласточкой впорхнула черноглазая девушка с милым загорелым личиком.

При виде незнакомого гостя она смутилась и покраснела, отчего сделалась еще милей.

Смутился и Григорий Саввич, хотя и видывал, конечно, в разных землях немало красавиц.

За первой встречей последовали и другие — все в том же доме. Само собой разумеется, гость и виду не подавал, что творится в его смятенном сердце. Он ведь приходил не к ней, а исключительно к ее родителю, и приходил не для праздного времяпрепровождения, а для самых серьезных бесед. Разговоры велись только ученые. Бывший службист обнаружил в себе начитанного собеседника. Не заискивая перед харьковской знаменитостью, говорил он достойно и здраво. А тому только и нужно было, чтобы посреди негромкой беседы вдруг прозвучал из соседней комнаты нежный голосок, мелькнуло за открытой дверью простенькое платьице юной хозяйки.

— Вся в покойницу-мать, — кивал головою майор, — и правом уживчива, и рукодельница, и по дому хлопотунья. Вот только в грамоте не сильна. Некогда мне ее учить-то было.

И вопросительно поглядывал на гостя.

Как к тому и клонилось, через короткое время Григорий Саввич обнаружил себя — неужели не снилось ему все это? — в роли домашнего репетитора. В новинку ему показалась подобная роль: обучать наукам особу прекрасного пола, давать ей задания, выслушивать певучие умненькие ответы, изредка врасплох ловить застенчиво-пристальные взгляды изпод густых ресниц, слышать

рядом чистое дыхание.

Кажется, будь его воля, он бы весь двенадцатилетний академический курс своей ученице преподал! Но вот вышло все куда кратче: словом, ни и она очень быстро обнаружили, что чувство их — взаимное.

Тогда-то и зашла речь об увенчании союза двух любящих сердец. В назначенный час молодые в сопровождении немногочисленных односельчан вступили на паперть бедного приходского храма.

Местный батюшка извлек из ризницы венцы, запели на клиросе, начался чин венчания.

Уже священник готовился водрузить венцы на головы жениха и невесты — Григорию Саввичу что-то сделалось не по себе. Вдруг ослепила его мысль такая, будто он не то что обручен, а обречен будет теперь отныне и навеки! Обречен на самое позорное и обыденное супружеское счастье! И как представил он, бедняга, перекати-поле, всю эту безвылазную безмятежность своего будущего семейного блаженства, так разом потемнело у него в уме и в глазах!

Дико оглянулся Григорий Саввич, не видя, не узнавая ни возлюбленной своей, ни ее умиленного родителя. Все решили секунды.

— Сейчас я, сейчас, — пролепетал он и попятился через храм к паперти, трепеща от страха и отчаянья.

— Что такое?..

— Куда вы?..

— Как же так?..

Выскочили за ним на церковное крыльцо. Что с ним, Григорием Саввичем? А Григория Саввича и след про» стыл…

Вот ведь какая романтическая история случилась однажды в Валках!

Могут возразить, что история не столько романтическая, сколько скандальная. И действительно, надо признать, что Григорий Саввич поступил здесь не по рыцарски, весьма и весьма легкомысленно поступил — и по отношению к обычаю, и по отношению к живым людям.

Единственное, что его как-то может оправдать, так это то, что брошенная невеста вскоре благополучно вышла замуж за вполне уравновешенного и надежного человека, была счастлива в семейной жизни и безо всякого раздражении вспоминала иногда чудаковатого своего учителя, который так смешно (и, конечно же, к лучшему!) улизнул когда-то от нее прямо из-под венца. Да и сам Григорий Саввич, говорят, когда через время прослышал о столь счастливом разрешении судьбы своей возлюбленной, то

искренне порадовался за нее и вздохнул с облегчением.

А впрочем, может быть, и по вздыхал он, и но радовался. Может быть, и не было между ними никакого романтического чувства. Вполне также возможно, что ее и вообще то такой не существовало — майорской дочки с Валконских г у торов, в которые Сковорода, возможно, никогда и не забредал.

Такой неожиданный вариант вполне возможен, и вот почему.

В первые десятилетия XIX века в Харькове жил молодой человек, юный литератор Измаил Срезневский. Измаил Иванович Срезневский известен в филологической науке как выдающийся знаток древнерусской письменности, знаменитый исследователь славянских культур. Но в молодости он был еще просто Измаилом Срезневским, начинающим литератором, поклонником Байрона и вообще романтизма, увлеченным почитателем (как и многие его сверстники) малороссийской старины. Среди местной литературной молодежи возник тогда настоящий культ Сковороды. Разыскивали автографы таинственного старца. Людей, которые хотя бы что-то о нем еще могли вспомнить. Записывали устные истории и «случаи» из жизни «харьковского Диогена».

Срезневский действовал успешнее других. Ему удалось найти многие документы, сохранить их. Одним из первых он опубликовал биографический очерк о малороссийском философе, где предпринята попытка истолковать мировоззрение Сковороды. Но материалов под руной у Срезневского было все-таки маловато: лишь немногое из написанного мыслителем он уснел к тому времени прочитать, да и биографических данных в его распоряжении оказалось самая малая толика (достаточно сказать, что «Житие» Ковалевского ему известно не было). И вот, чтобы как-то оживить в воображении читателей образ народного мудреца, сделать его выпуклей, он в своих литературных набросках о Сковороде стал подрисовывать некоторые детали и сюжеты беллетристического свойства.

Детали эти явно свидетельствовали о новейших литературных симпатиях автора. Сковорода, по Срезневскому, оказывался личностью в достаточной мере байрооиче-(кой. Он погружался в «мрачную бездну мистицизма», кроме того, «везде находил, или лучше сказать, везде старался найти, худшую сторону», наконец, «с летами созрело в нем это ледяное чувство отчуждения от людей и света…».

Молодого литератора вполне можно было понять: старики умирали, мчались навстречу новые времена, важно было как можно больше записать, зацепить быстрым пером. А лишнее? Оно с годами отсеется и отчеркнется.

Так из-под пера его появились «Воспоминания стариков и старушек о Григории Саввиче Сковороде». Из воспоминаний этих можно узнать, например, что Григорий родился не в 1722 году, как это было известно, а в 1726-м. Что когда мальчику исполнилось семь лет, то отец его овдовел (хотя известно, что мать Сковороды, Пелагея, была жива еще в сороковые годы, а муж ее умер раньше). Можно узнать также, что мальчик за три года учения в школе не научился «разбирать ни одной слова-титлы», но зато любил «шалить, дурачиться, опустошать птичьи гнезда, драться с товарищами, обижать нищих, насмехаться над учителями» и т. д. и т. п. Было тут и еще «воспоминание» про то, как, живя уже в Харькове, Григорий Саввич едва не утонул в Лопани, в то время как пересекал ее по льду, поспешая с толпою зевак на… пожар. (Тут уж явно проступает иная крайность: романтический угрюмец вдруг обернулся площадным ротозеем.)

Словом, «старики и старушки» вдоволь нафантазировали!

Вслед за «Воспоминаниями» Срезневский написал и опубликовал повесть «Майор, майор!», сюжет которой и изложен нами выше. Проверить, насколько реальны события, лежащие в основе повести, уже нельзя. Л поверить без оглядки в то, что за романтическими перипетиями сюжета скрываются какие-то действительные события из жизни Сковороды, — в это не очень-то верится.

Не верится прежде всего потому, что слишком уж приключение на хуторе Валки глядится литературным штампом. Тут и симпатия с первого взгляда, и сам объект этой симпатии — застенчивое существо, «дитя природы», типичный пасторально буколический персонаж. Традиционно, наконец, и бегство от брака, схожее с аналогичным событием из жития Алексея — Божьего человека (житие это было издавна популярно и на Руси, и наУкраине).

Не будем судить и гадать, что было в Валках на самом деле и чего там не было. (Кстати, несколько десятилетий назад даже была предпринята попытка разыскать в современных Валках сведения, подтверждающие интригу повести Срезневского. Но кроме устных предании аналогичного свойства — а они вполне могли иметь источником гаму повесть, — ничего более достоверного на месте предполагаемого происшествия обнаружено не было.)

Важно подчеркнуть другое: личность Сковороды почему-то удивительно часто провоцировала и его современников и тем более его потомков на сочинение всевозможных побасенок и легенд. Тот же молодой Измаил Срезневский однажды с нескрываемым раздражением откликнулся на появление в печати

весьма вольной в обращении с фактами статьи о Сковороде — ее автором был сверстник Срезневского Александр Хиждеу, в молодости тоже живший в Харькове. Хиждеу опубликовал несколько фрагментов из трактатов и писем, якобы принадлежащих философу. Отрывки производят впечатление умело, иногда даже талантливо выполненных стилизаций под манеру Сковороды, хотя, вполне возможно, в основе их и лежат какие-то неизвестные сочинения мыслителя. Хиждеу, однако, не представил современникам автографов или списков, соответствующих опубликованным текстам. Возмущение Срезневского вполне можно понять, но ведь и сам он в своей повести о Сковороде приводит некоторые «философские» тексты, первоисточник которых до сих пор не выявлен.

Такое уж было время: списки стихотворений, диалогов Сковороды ходили из рук в руки, быстро множились, а рядом незаметно выросла целая литература «псевдо-Сковороды». Чего только его авторству не приписывалось, начиная от песен запорожско-казацкого обихода и кончая тяжеловесными наукообразными трактатами!

Конечно, сам факт столь разросшегося тогда творчества «под Сковороду» вовсе не может быть оценен лишь в отрицательном смысле. Гораздо чаще, чем сознательное мистифицирование, в этом факте заявляло о себе искреннее желание «обогатить» для потомства образ знаменитого соотечественника. Ведь нам известны и другие, значительно более древние примеры, когда анонимные сочинители передоверили собственные творения авторству своих выдающихся предшественников, а если и не они сами, то за них это делали следующие поколения книжных людей.

В конце концов все становится на свои места: современная филологическая критика близка к тому уровню, когда авторскую принадлежность того или иного литературного текста возможно атрибуцировать почти с абсолютной исторической точностью. Так и в литературном наследии Сковороды на сегодняшний день существует совершенно отчетливая граница между его подлинными творениями и многочисленными сочинениями «псевдо-Сковороды».

Гораздо сложнее обстоит дело со всевозможными легендами и «случаями» из жизни малороссийского старчика. Следует ли относиться к ним как к событиям вполне вероятным и допустимым или же нужно начисто вычеркнуть их из исследовательского обихода? Более всего подобных «случаев» зарегистрировано на тему: встречи философа с императрицей Екатериной II. Вот сюжет самой, пожалуй, популярной из

«встреч»: будто бы, когда совершала Екатерина свое известное путешествие по Украине, захотелось ей повидаться с малороссийским философом-странником, и не только повидаться, но еще и зазвать его на постоянное жительство в столицу.

Но не так-то просто оказалось исполнить желание императрицы. Потемкинские гонцы пол-Малороссии исколесили в поисках неуловимого бродяги, и все без удачи. А Григорий Саввич сидел в это время где-то на безымянном степном взгорке под солнцем, рядом со стариком пастухом и мальчиком-подпаском, сидел и наигрывал для них и для полусонных овец на хриплой сопилке.

Вот тут-то наконец и застиг его запыхавшийся гонец, злой и измученный. Выслушав столь лестное приглашение императрицы, Сковорода якобы ответил совершенно непочтительным образом: не поеду — и всё. А вдобавок будто бы еще и стишок произнес: «Мне свирель и овца дороже царского венца».

Так и повернул посыльный ни с чем. Взвилась и осела за ним дорожная пыль.

Но молва не осела, не рас таяла. Столетие прошло, а история про то, как де лихо ответил Сковорода царице, все еще гуляла и гуляла себе по украинским селам.

Если это и вымысел от начала до конца, отнестись к нему нужно внимательно: сказка, как известно, лжет, да намекает. В наши дни известен целый цикл «царских» легенд о Сковороде. Они, как правило, наивны, бесхитростно-простодушны, образ философа в этих историях весьма расплывчат. Сковорода здесь уже не конкретное историческое лицо, в вообще человек из народа (кстати, и фамилии щая плебейская!).

Вот, к примеру, оказался наш философ волею случая в царском дворце прямо к обеду поспел. Смотрит, а Екатерина щиплет хлеб по крошке, тоскует. Удивился гость, генералы объясняют ему: у государыни де аппетит пропал. «Что за беда! Вот вам доброе лекарство: пусть матушка-царица возьмет в ручку серп и выжнет делянку ржи». Тут же выковали для императрицы серп из чистого золота, собрался народ в поле посмотреть на ее работу. А она, бедняжка, и серпа не смогла поднять от слабости… В другой раз получился еще больший конфуз. Прогуливаясь со Сковородой по аллеям парка, императрица нечаянно споткнулась и упала. Упала, а он стоит возле и даже не пытается ей помочь. Подбежали люди, подняли государыню. Екатерина вся кипит от злости: почему он-то не поддержал вовремя, не помог встать? А потому, отвечает, что у меня руки чистые, никогда к золоту и серебру не прикасались, на тебе же, матушка, одного золота целехонький пуд…

Безвестным сочинителям этих простонародных историй страстно желалось, чтобы вопросы социального неравенства решались именно в обстановке царского дворца, а не где-нибудь еще. И чтобы решались они напрямую: нот царица, а вот народный ходатай, совершенно свободный в обращении с кем бы то ни было, насмешник, никогда не лазящий за словом в карман.

Конечно, герой этих историй выглядит несколько простовато по отношению к историческому Сковороде. Но народную фантазию в данном случае и не беспокоила проблема абсолютной достоверности созданного образа. Стародавний философ, вышедший из социальных низов, но так себя поставивший, что с ним и господа разговаривали на равных, — именно такое лицо и требовалось, чтобы обрести вторую самостоятельную жизнь в народной словесности.

Один из «случаев» повествует о том, что как-то, когда еще жил Григорий Саввич у Степана Томары, к помещику съехались гости — поглядеть на Сковороду. Но когда расселись за столом, окапалось, что и смотреть-то не на кого, потому что Григорию Саввичу места не хватило. Забился он в темный угол и говорит лакею: «Дурень лезет на видное место, чтоб на него все глазели, а разумного и за краешком стола приметят».

«Не мои сии мысли, не я оные вымыслил», — должно быть, сказал бы Сковорода, если бы ему вдруг довелось выслушать о себе такую вот историю. И точно, мысли не его. Ведь перед нами слегка видоизмененная в народной среде евангельская притча о том, как следует вести себя праведнику в гостях: не стремиться на лучшее место, откуда его могут попросить, если придет более именитый гость, но сесть на самом краю, и тем больший ему будет оказан почет, когда хозяин попросит его придвинуться к себе.

Самая, видимо, ранняя по времени возникновения легенда о Сковороде из «царского цикла» снова возвращает нас к эпизоду путешествия Екатерины II но Украине: на городской площади подводят к императрице загорелого до черноты Григория Саввича.

— Отчего ты черный такой? — удивляется она.

— Сковорода оттого и черная, что блины на ней выпекаются белые, — с достоинством ответствовал старчик.

Эта «вторая жизнь» мыслителя в крестьянской устной словесности представляет собою ценное историческое свидетельство об умонастроениях трудящейся массы второй половины XVIII века, когда процесс полного закабаления крестьянства из нейтральных районов страны распространился и на земли малороссийского посполитства.

Ситуация «царь и мудрец из народа», традиционная для фольклора разных времен и народов (вспомним легенды о Диогене и Александре Македонском), теперь приобретает новый социальный смысл, характерный для эпохи Пугачевщины и Колиевщпны.

А тот факт, что героем легенд в данном случае избран мыслитель с репутацией религиозного вольнодумца, «еретика», а не социального реформатора или бунтаря, лишний раз подтверждает справедливость слов В. И. Ленина о том, что «выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития».

Существует древний символ вечности, законченности, бытийной полноты — круг. Круг, кольцо — наглядный образ совершенного мироустройства. К этому образу, как к своему идеальному первоисточнику, восходят десятки и сотни земных вещей и предметов.

В одном из философских диалогов Сковороды — он носит характерное название «Кольцо» — как раз и проводится мысль об универсальности круга-кольца как пластического выражения идеи совершенства. Собеседующие персонажи диалога в порыве воодушевления устраивают целую словесную ярмарку понятий эмблем, объединенных качеством круглости. Тут и змей, заглатывающий собственный хвост, и небесные светила, и земные предметы, вплоть до самых обиходных, — тележные колеса, яблоки, яйца, тыквы, арбузы, горох, бобы и, наконец, «решета, блюда, хлебы, опресноки, блины с тарелками…».

Не здесь ли вдруг «откликаются» те самые белые блины, которые на черной сковороде выпекаются?

Самоирония этого сковородинского пассажа, прочерчивающего линию подобий от небесного, космического к грубоземному — в частности, к «круглой» фамилии автора, — налицо. Он безбоязненно пользуется оружием самоиронии, ибо, по его понятиям, это грубоземное существует не изолированно и униженно, а как сколок и отражение все того же идеального совершенства, что задано в круге. «И что блаженнее, — пишет он в другом месте, снова смело сближая высокие и низкие понятия, — как в толикой достигти душевной мир, чтобы уподобиться шару, кой все одинаков, куда ни покоти».

Раскатилась в памяти потомков жизнь Григория Саввича Сковороды, как шар, как клубок, наматывая на себя всевозможные «слухи», случаи, легенды и побасенки.

Слухи слухам рознь. Одни заведомо претендуют на «историческую объективность», всячески стараются подделаться

под биографию. Такие слухи требуют тщательной проверки, относиться к ним нужно с предосторожностью.

Другие вовсе не стремятся подделаться под уровень неоспоримых биографических фактов, у них своя особая задача и своя самостоятельная жизнь в народной памяти. И к таким слухам, видимо, нужно относиться с тем уважением, с каким мм вообще относимся к преданию. Потому что в предании главное — не буква, по дух.

СЛОБОЖАНЩИНА

Он обыкновенно называл Малороссию матерью потому, что родился там, а Украину — теткою по жительству его в оной и по любви к ней».

Эта фраза Ковалинского требует одного уточнения топонимического характера: в XVIII веке понятие «Малороссия» совсем не было тождественно понятию «Украина». Малороссией, или Гетманщиной, называли тогда — в отличие от земель, подвластных Речи Посполитой, — пространства по Левобережью Днепра. Гетманщина административно делилась на полки и с тех пор, как узаконилось в ней такое деление, жила жизнью более-менее централизованной и прочной. К югу от Гетманщины без определенных границ простиралось беспокойное и зыбкое Запорожье. Границы его гуляли, как ветер, как гуляет сам запорожец: то спустит с себя все до нитки, то разрядится в ослепительно пестрый, с бою взятый убор.

Кроме этих трех областей — Малороссии-Гетманщины, Запорожья и униатского Правобережья, — в XVIII веке в качестве территориального целого выделилась еще одна — восточная область нынешней Украины. Эту свежую окраинную почву и стали тогда именовать Украиной, или Слободской Украиной, или же Слобожанщиной.

Еще недавно пустовавшие тучные лесостепные пространства вдруг запестрели от обилия пришлого люда. То были преимущественно беглецы и переселенцы с униатских земель. Селились слободами, просторно, не стесняя друг друга, потому и название такое — Слобожанщина: в нем, должно быть, слышалась весть о долгожданной свободе.

Харьков стал центром Слободской Украины, ее столицей. В городе от времен основания велика была русская прослойка — военный и чиновный люд, купцы. Да и в округе немало было русских поселений. В разговорном — преимущественно городском — обиходе прихотливо перемешивались две языковые стихии.

Григорий Саввич, несколько лет проживя в Харькове и его окрестностях, полюбил здешние места. Ковалинский пишет в «Житии», что Сковорода Украину предпочитал Малороссии из-за климата: здесь воздух был суше и для него целебней, реки здесь не зацветали среди лета и не отдавала вода гнилью, как на более влажных землях Гетманщины.

А может, дело было и не в воздухе, и не в воде. Есть люди, которым органически присуще обживать новые места, находиться

в среде деятельных и энергичных новоселов.

Выделять отдельные периоды в биографии такой неутомимо-непоседливой натуры, как Григорий Саввич, довольно сложно. Но все-таки к исходу шестидесятых годов XVIII века можно в его жизни отметить следующее событие: харьковский, или городской, «период» как то сходит на нет, растворяется в «периоде» слобожанском, преимущественно сельском.

Сковорода на Слобожанщине — тема в известном смысле, уникальная. Где еще и когда слышно было о мыслителе, который бы в течение четверти века с такой завидной неустанностью перекочевывал с места на место, переносился из городка в городок, от села к селу, везде неизменно обрастая новыми привязанностями, богатея в друзьях, которые навсегда ему отныне будут преданы, несмотря на частые и неожиданные разлуки? Он как добрый и вездесущий дух этих мест: сегодня тут, а завтра — верст за двадцать, за тридцать, за пятьдесят, и оттуда в покинутые им дома летят полные трогательной заботы письма.

«Не поеду к вам, потому что меня любите: луна издали светлее, музыка — вкуснее, а приятель — приятнее…»

«Ныне скитаюся в Изюме… Артемию Дорофеевичу нижайший поклон. Поклонитесь и Якову Борисовичу…»

«Моя теперь rusticatio в Куреже, нечаянной вихор выхватил меня с Купянских степов…»

«Я больше не в Бабаях, а живу в Липцах, у Алексия Ивановича Авксентиева. Словом сказать: «Господь пасет мя…»

«Зимую в Бурлуке… помышляю посетить Вас…»

«Ныне скитаюсь у моего Андрея Ивановича Ковалевского. Имею моему монашеству полное упокоение, лучше Бур лука…»

Изюм, Бурлук, Бабаи, Гусинка, Дисковка, Куиянск, Маначиновка, Чугуев, Липцы, Должок, Ивановка — вот далеко не полный список городских и сельских адресов Сковороды на Слобожанщине с шестидесятых по девяностые годы. Список неполон, потому что адресов таких было на деле гораздо больше: всевозможные хутора и хуторки, безымянные лесные хижины и дачки, крестьянские хаты и шалаши пасечников, гостиные дворы при дорогах. И это, пожалуй, не гипербола будет, если сказать, что вся Слобожанщина была исхожена им вдоль и поперек, вся она знала его в лицо.

В предисловии к трактату «Асхань» Сковорода сообщает: «Десять верст от Харкова написал я сию книгу в лесах Земборских». У Михаила Ковалинского находим более подробные сведения о лесном пристанище учителя: «Сковорода, побуждаясь духом, удалился в глубокое уединение. Близь Харькова есть место, называемое Гужвинское, принадлежащее помещикам

Земборским, которых любил он за добродушие их. Оное покрыто угрюмым лесом, и средине котораго находился пчельник с одною хижиною. Тут поселился Григорий…»

С отставным подпрапорщиком Василием Михайловичем Земборским Сковорода познакомился скорее всего через его сына, Ивана Земборского, который учился в Харьковском коллегиуме и в 1709 году слушал у Григория Саввича курс добронравия.

Земборскому-отцу в харьковской округе принадлежала деревня с хуторами — в числе их был и хутор Гужвинский, — а также слобода Земборовка. Было где принять уставшего от учительства гостя. Но Сковорода, как мы видим, предпочел комфорту хозяйского жилья хибарку, затерянную в глуши леса. И этот жест, весьма для пего характерный. Он и дальше часто будет так вот поступать, потому что не в его правилах злоупотреблять чужим гостеприимством: приязнь — приязнью, но чувствовать себя приживальцем он не любил.

Сегодняшний Земборский лес никак не назовешь угрюмым. Но тогда, должно быть, он вполне еще выглядел диким углом природы.

О дуброва! О зелена! О мати моя родна!

В тебе жизнь увеселенна, в тебе покой, тишина!

Сковородинское стихотворное славословие матери-дубраве напоминает своим лиризмом замечательную «Похвалу материпустыне» — шедевр нашей старой письменности; «Похвала» повествует о сложности и противоречивости самоощущения человека, убежавшего от мира. «Прими мя, пустыне, яко мати чада своя, в тихое и безмолвное недро свое. Не страши, пустыне, страшилищи своими отбегшаго от лукавыя блудницы мира сего… О пустыне, красная и веселая дубравица, аще благоволил мя Господь крытися по тихой дикости и по красному ополению различных цветец твоих…»

Матерь-пустыня часто бывает неласковой, и далеко не каждый способен переносить длительное уединение. Подозрительные лесные шорохи и голоса пробуждают человека среди ночи, он прислушивается к ним с колотящимся сердцем и потом до света но может уснуть. Воспитать в себе доверие к ночному лесу нелегко. Каждый куст глядится чуждым существом, бесконечно скрипит какая-то унылая птица. Древний языческий страх расшевеливает в сознании фантастические образы, они наползают один за другим. Это угрюмое серое шествие выматывает бессонную душу. Пока-то затеплится заря!..

Но мы знаем: у Сковороды уже был навык к пустынножительству, доверие к темноте и тишине. В зеленых покоях Гужвинского леса рождаются главы двух первых его

философских книг.

О «Наркиссе» он пишет: «Сей есть сын мой первородный». За этим диалогом последовала и первородная Дочь — «Асхань», книга, названная именем библейской царицы.

Попутно с писанием диалогов, отдыхая и отвлекаясь т их сложной проблематики, Григорий Саввич набрасывает сюжеты пятнадцати прозаических басен, которые срез несколько лет войдут в состав его рукописной книжицы «Басни Харьковския». Это был один из ранних в истории отечественной письменности опытов оригинальго баснетворчества. Автор всего два сюжета заимствует у Эзопа, остальные разрабатывает самостоятельно.

Завершить сборник ему суждено было уже в другом месте, в селе Бабаях, в 1774 году.

Зазвал сюда Сковороду его бывший ученик из Харьковского коллегиума, Яков Правицкий, к этому времени уже ставший священником в сельском приходе.

Подгородное харьковское село Бабаи расположено по склонам нагорья, царящего над равнинными далями. На горизонте видны околицы Харькова. Значительно ближе, у самого почти подножья бабаевских высот, — село Жихорь (там Сковорода тоже не раз бывал). Громадная долина, испещренная белыми хатками сел, огибая бабаевское нагорье, тянется с запада на восток. Далеко раскатилась Слобожанщина!

В Бабаях вскоре по приезде Григория Саввича образуется кружок собеседников. Здесь преимущественно представители местной поповки — приятели Якова Правицкого из соседних приходов. Их потом Сковорода будет неизменно приветствовать в письмах к Якову, прося передать поклоны. Чаще иных вспоминается ему Наум Петрович из Жихоря (видимо, священник), затем еще отец Евстафий и отец Гуслиста, Василий и Иоанн, и некто «Любачин слепенький». «Целуйте такожде духовную матерь мою, игуменью Марфу». Возможно, в кружок собеседников входил и бабаевский помещик, коллежский советник и губернский прокурор Харьковского наместничества Петр Андреевич Щербинин, которого, впрочем, Сковорода мог узнат……ш раньше, когда прожинал временно в его, Щербинина, владении — селе Должик. С этим Щербининым, родственником харьковского губернатора, связи у Григория Саввича не обрывались и в течение следующего десятилетия. Когда в 1785 году довелось Щербинину по службе быть в Петербурге, Ковалинский посылал через него письмо и подарки своему учителю.

Дом Щербинина, с многочисленными добротными пристройками, стоял в самом центре Бабаев, напротив сельского

храма. Сразу за усадьбой открывались на десятки километров щедрые просторы. «Да возвеселятся Баба и со всеми отраслсми, селами!» — восклицал в письме Якову Сковорода. С южной стороны к селу подступал лес. В гуще его возле крутой тропы сберегается до сих пор еще одно место, которое молва связывает с именем бродячего мудреца, — родник, заключенный в сруб.

В Бабаях Григорий Саввич много пишет, доканчивает цикл басен. Естественно, ему хочется почитать басни друзьям, выслушать мнения о своей литературной причуде. Жанр ведь действительно по тем временам еще непривычный, а для многих и сомнительный. Автор даже вынужден оправдываться перед слушателями: «Друзья мои! Не презирайте баснословия! Басня тогда бывает скверная и бабин, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины…»

В Бабаях — большой пруд. Оттуда по вечерам разносятся лягушечьи речитативы на эзоповом диалекте. Блеяние и мычание вырываются из хлевов. Волнами перекатывается над дворами собачий брсх. Похоже, что козлы и гусыни, лягушки и собаки по вечерам разговаривают друг с другом о смысле различных событий. Побеседовать между собою хотят горшки и ухваты, даже навозная куча изнемогает от желания затеять диспутацию с соседями по двору. Надо только разглядеть глухонемые гримасы вещей, услышать шепелявую речь разношерстной твари и закрепить ее пером на бумаге.

«…Оленица, увидев домашняго Кабана:

— Желаю здравствовать, господин Кабан, — стала витатся, — радугося, что вас…

— Что ж ты, негодная подлость, столько но учтива! — вскричал, надувшись, Кабан. — Почему ты меня называет Кабаном? Разве не знаеш, что я пожалован Бараном? В сем имею патент, и что род мой происходит от самых благородных бобров, а вместо епанчи для характера ношу в публике содраную с овцы кожу.

— Прошу простить, ваше благородие, — сказала Оленица, я не знала! Мы, простыи, судим не по убору и словам, но по делам. Вы так же, как прежде, роете землю и ламаете плетень. Дай бог вам быть и конем!»

Тема, выставленная Григорием Саввичем в этой сцепке, проходит через всю книжку: каждая тварь должна жить по своей натуре, а не обезьянничать и не рядиться в чужое перье. А то ведь сколько на каждом шагу ослов, одетых в львиную кожу, сколько черепах, пытающихся летать подобно орлам! «Кто тма — будь тмою, а сын света — да будет свет». «Без природы, как без пути: чем далее успеваеш, тем безпутне заблуждает».

Это все та же тема, которую Сковорода несколькими годами прежде наметил в стихотворной басне о волке, вздумавшем позабавить козленка игрой на флейте и жестоко поплатившемся за свое музицирование. Это разговор о том, что именно приличествует каждому существу, обитающему на земле, и что ему противопоказано, делает его смешным, неуклюжим, безобразным.

В 1770 году, в промежутке между отшельническими месяцами в Земборских лесах и бабаевским «сидением», состоялось последнее в жизни Григория Саввича путешествие в Киев. В город, где прошла его студенческая молодость, Сковорода отправился вдвоем с Алексеем Юрьевичем Сошалыким, слобожанским помещиком, приятелем Якова Правицкого. Накануне поездки Сковорода некоторое время гостил у Сошальских в деревне Гусинке, что в Изюмской округе.

Этот адрес в жизни Григория Саввича более чем примечателеп. Оп потом частенько будет наезжать сюда и подолгу тут жить — в самой Гусинке, в соседней с нею Маначиновке, чаще же всего в гусинском лесу, при пасеке.

Четыре брата Сошальских — Александр, Алексей, Георгий и Осип — были сыновьями изюмского полкового писаря Юрия Семеновича Сошальского, писаря далеко не простого (известно, например, что он написал в свое время учебник логики, да еще на латинском языке!). Видимо, и детям своим писарь постарался дать добротное гуманитарное образование.

Александр Сошальский погиб в схватке с запорожцами, которые в последние десятилетия перед упразднением Сечи все чаще стали пошаливать на больших дорогах. После его гибели именно перешло к младшим братьям. У братьев было два дома: один, больший, в Гусинке. Он стоял над высоким берегом пруда в окружении лип и был о трех этажах. Тут жили Осип Юрьевич и Алексей Юрьевич, последний — холостяк и заядлый книгочий — меж соседей слыл чудаком.

Другой дом — в нескольких километрах от Гусинки, в селе Маначиновка. Мимо села проходит дорога из Изюма на Белгород. Семнадцати-комнатный дом Георгия Сошальского, с деревянными колоннами под ампир, выхолил фасадом на майдан, на противоположном краю которого стояла церковь, а возле нее каменная сторожка. По местным преданиям, странствующий философ, заходя в Маначиновку, останавливался чаще всего именно в этой сторожке.

Но излюбленным жилищем Сковороды была в здешних местах большая насека в глубине гусинского леса… От края дубравы старая, заросшая травой дорога идет вниз, пряча

солнечные лучи в кронах дубов, кленов, грабов. Кажется, движение на дно лесной яруги бесконечно. Воздух все прохладней, жуки нее глуше. Долго, почти до полудня, не просыхает тут роса.

Но вот путь выравнивается, перед глазами неожиданно распахнулась широкая поляна, вся в белом цветении. В ослепительных нарядах, как невесты, стоят стройные груши. Тысячи пчел жужжат на медовом пиршестве. Вот и белая хатка, не видная сразу за вишенной дымкой. На плетне глиняные кринки и глечики. Возле дуплянок курится сизый дымок пасечника.

Сколько уже подобных уголков повидал в жизни Григорий Саввич! Но в таком вот приветливом он, кажется, впервые. Невдали от сада, в тенистом овражке льдисто посверкивает криница. Вода подступает почти к верхнему звену замшелого сруба…

Впервые посетив Гусинку в 1770 году, Сковорода возвращается сюда и следующем; проводит тут зиму, весну и лето 1779 года; о пребывания его в Гусивие свидетельствует письмо, датированное 3 октября 1782 года; в 1785 м он снова здесь; и после короткого путешествия в Бурлук к осени возвращается в Маначиновку, где зимой тяжело заболевает («Остатки горячки мучат мене. Два месяцы огневица свирепствовала во мне»); в Маначиновке же Сковорода встречает пасху 1786 года, а зиму следующего проводит в гусинском имении. Лето для него в отличие от зимы, как правило, время напряженных трудов, и годовою сменою периодов творческой активности и бездеятельности он напоминает пчелу: «Близко, почти у дверей, стоит зима, враждебная музам. Тогда уж надо будет не писать, а греть руки».

Летом 1788 года Сковорода пишет в гусинском лесу диалог «Убогий жайворонок». Наконец, он навещает Гусинку в 1792 году. Уже в последний раз.

Попасть в Гусинку можно было двумя путями — и:: Великого Бурлука и из Купянска. Вернее, то была одна дорога, тянувшаяся из центральных областей России на юг страны, к морю, — один из древних шляхов, — по нему когда-то шли во враждебную степь куряне, «храбрые кмети», воспетые автором «Слова о полку Игореве».

Многие из этих старинных путей давно заросли травой или перепаханы. Но названия остались; и как о многом они напомнит тому, кто внимателен к прошлому: был старый шлях Ромодан, был на юге Руси и еще более древний — Муравский шлях; Мазепин и Черный шлях, Искрин и Пьяный, Серпяжский и Караванский, Шрамковский шлях и шлях Бендерский… Словно

земляные реки, обильно орошенные потом и кровью, в песнях воспетые и оплаканные.

Шлях широк, как мощное русло, не сразу суслик, вспугнутый шагами одинокого странника, пересечет его. Почва долго хранит следы прошедших здесь весною чумацких обозов. Двинулись чумаки к морю за солью, и каждое утро, лишь успевало солнце разогреть шлях, возникало впереди обманное марево. Казалось, груды чистой сухой соли совсем уж близко, меньше версты осталось волам плестись, роняя но ветру Клейкую слюну.

Тяжелый, опасный труд у чумаков. Не зря всю зиму отлеживаются они на печи, сладко позевывая и не отзываясь на брань своих злоязычных супруг. В апреле, чумак, насупясь, чистит ружье, если есть оно у него, и смазывает рубашку дегтем — от всякой дорожной заразы. По ночам в степи обозники выстраивают каре из своих повозок и костры разводят внутри этой дорожной крепости — такова многими поколениями Завещанная предосторожность. Мало ля кто гуляет ночью по оврагам и долинам!

Уйдут на все лото, но каждый ли домой вернется к заждавшейся семье? Кого подкараулит татарская пуля, кого чумное поветрие сведет в могилу раньше срока — сколько холмиков слева и справа по дороге! Сострадательный путник устает им кланяться; может, и его останки когда-нибудь подберут с дороги обозные люди, и вырастет посреди степи еще один сердобольный бугор… «Что жизнь? — То странствие… И всегда блуждаю между песчаными степями, колючим кустарником… — а буря над головою, и негде укрыться от нее».

Однажды Сковорода отправился пешком в дальний путь — из Бурлука в Острогожск — городок, где жило семейство воронежских помещиков Тевяшовых, у которых он не однажды уже гостил. На пути Григория Саввича нагнала карета. В седоке он узнал Владимира Степановича Тевяшова-младшего. Тот возвращался домой из Воронежа. Приятели радостно приветствовали друг друга. Тевяшов подвинулся на сиденье, приглашая пожилого человека сесть рядом.

— Нини, — махнул рукой Сковорода и оглянулся кругом, — поздно мне привыкать к катанью, у меня — свое, у тебя — свое, езжал с богом. А я, может, еще и нагоню вон у той горки.

Вольному — воля, Тевяшов скомандовал кучеру, карета покатила.

Только ехать ему пришлось недолго, навстречу стремительно надвигалась туча. Первые крупные капли ударили по дорожной ныли, хлынул ливень. Неожиданная гроза всегда страшней в пустынном месте, среди степи. Тут она буйствует без удержу,

ничем не стесненная. Кажется, ослепительные корневища зарываются в землю совсем рядом, сразу за обочиной.

А когда откатилась гроза за спину и выглянуло солнце — новая неприятность: намокшая пыль толстым слоем липла на ободья, лошади с трудом одолевали затяжной подъем — пар шел от крупов. Наконец взобрались в гору, и тут Тевяшов, к изумлению своему, увидел на обочине Саввича, бодро ступающего и… совершенно сухого.

— Как же ты ухитрился выйти сухим из такой воды? — подивился Тевяшов. — Где укрывался в голом-то поле?

— Эге! У странника свой маневр — я с себя все снял да в суму упрятал, а как прошел дождик, сам обсох и в сухое оделся.

Ну и ловок же Григорий Саввич, покачал головой Тевяшов. Где еще найдешь на земле таких хитрых философов, которые бы под божией грозой нагишом ходили?!

…В гостеприимном острогожском доме странник отогревался душой и телом. Хозяин дома, отставной полковник и бригадир Степан Иванович Тевяшов, был на Унраине лицо известное. В свое время он участвовал во многих военпых кампаниях.

Трудно сказать, в какие годы семейство Тевяшовых перебралось из Харькова на родину своих предков, в Острогожск. Скорее всего Сковорода завел знакомство со Степаном Ивановичем и его сыном еще в Харькове, в период своего там учительства.

Из всех своих слобожапских друзей и приятелей к этим двум, отцу и сыну, испытывал он едва ли не наибольшее расположение и доверие. Диалог «Кольцо» и следом за ним «Алфавит, или букварь мира» — самое совершенное свое философское творение — он в 1775 году посвящает Владимиру Тевяшову. Степану Ивановичу годом позже адресует «Икону Алкивиадскую». Ему же посвящен и переведенный Сковородою с латинского диалог Цицерона «О старости».

Главное действующее лицо последнего диалога — историческое. Это Катон Старшой, который уже но время Цицерона служил своеобразным эталоном нравственности, олицетворением добродетелей патриархального республиканского Рима. Катов раскрывает перед юными слушателями преимущества и достоинства своей старости: позади — бурная жизнь воина, государственного деятеля, крупного землевладельца; закат ее, увенчанный всеобщим почитанием, поистине величав. Молодежь видит в старости одно лишь физическое дряхление, она ее пугает и отталкивает. Но старость не боится самой себя: «Ах смерть! Она мне толь приятна, что чем ближе к ней подхожу, кажется, помалу виден становится

берег, отверзающий сладкое свое ведро для моего по долговременном мореплавании вспокоения».

Товяшов-старший, надо полагать, неплохо знал латинский язык (среди архивных документов сохранилась тетрадь посвященных ему приветственных стихов, написанных на латыни), а значит, он мог по достоинству оцепить качество перевода. Сковорода-переводчик довольно свободен по отношению к букве чужого текста. Безусловно, его переводы, как теперь это именуется, вольные: он может без особых колебаний опустить целый фрагмент из переводимого текста, он вовсе не обеспокоен тем, чтобы на уровне лексики сохранить колорит давно прошедшей эпохи. Все его внимание сосредоточено на том, что не обветшало и не может обветшать в творениях римского классика, — на универсалиях человеческого опыта. Таковы здесь размышления о жизни, о смерти и бессмертии, о презрении к сомнительным выгодам тех, кто ткнется за житейскими благами и удовольствиями.

Убеленный сединами ветеран, живой образ славной казаческой старины, наследник родовитого патриархального гнезда, Степан Тевяшов, можно думать, и сам был для Сковороды кемто вроде малороссийского Катона. 1)та ассоциация подкреплялась тем почитанием, которым отец и сын Тевяшовы окружали имя своего ближайшего предка; в предисловии к переводу Сковорода написал:…взошел мне на мысль некий муж нашего века, не по крови и плоти, но но сердцу вышепоминутым сроден. Сей муж есть покойный Вашего высокородия родитель. И сия-то причина заохотила меня поднесть сию книжечку, протолнованную здешним перечнем, в то время как пользовался я спокойным уединением в доме Вашем».

У Тевяшовых была хорошая библиотека, которая постоянно пополнялась книжными новинками обеих столиц. Степан Иванович подписывался даже на масонский журнал «Утренний свет», который в Петербурге, а потом в Москве издавал Николай Новиков. В журнале печатались «Юнговы нощи» и «Мнения Паскаля», «Пир Платонов о любви» и жизнеописания древних философов.

Бытовым укладом провинциальной усадьбы, где странника неизменно встречало общество симпатизирующих друг другу себеседников, диктовался в излюбленный жанр философских сочинений Сковороды — диалог: «Разговор есть сообщение мыслей и будто взаимное сердец лобызание, — писал он, — сои. и свет компаний — союз совершенства».

В его «разговорах», как правило, многолюдно: пять; шесть, семь, а то и восемь участников. Иногда эти «разговоры» в

исследовательской литературе по принципу сходства сопоставляются с диалогами Платона, с так называемыми «сократическими диалогами». Видимо, отсюда генетически исходит и популярное в применении к Сковороде почетное прозвище «украинский Сократ».

Однако «сократичность» сковородинских диалогов — определение, нуждающееся в оговорках, и прежде всего потому, что поведение собеседников по отношению к взыскуемой истине в диалогах Платона и «беседах» Скофроды — поведение весьма нетождественное.

Сковорода, как известно, вполне определенно высказывался по поводу «афииейских хитросплетений», а в конце концов, что такое приемы Сократа, этого благодушного хитреца, заманивающего неопытных и ничего не подозревающих спорщиков в незримые, но совершенно отчетливые по своей логической конструкции тенета доказательств, — что же это такое, как не «хитросплетения»?

Сократ Платоновых диалогов, как известно, зачастую лишь делает вид, что он вместе с собеседниками, на равных с ними нравах, ищет истину, помогает ее родить. Онто уже ее загодя нашел, уж он-то знает заранее, что именно должно быть «рождено» в результате спора. В своих «разговорах» Сковорода вовсе не озабочен тем, чтобы привить собеседникам определенный метод мышления. Представляющее его в «разговорах» лицо (он выступает, как правило, под разными именами: Лонгив, Яков, Ермолай, чаще всего — Григорий) стремится «разжевать» истину, уже заявленную как истина. Сковорода и не скрывает никогда, что он «разжевывает» ее, и но беспокоится вовсе о том, что может обиден, собеседников этой своей открытой позой знающего перед невегласами и тугодумами. В диалогах Сковороды идея, свидетельствуя о себе сразу, без обиняков, решительно устремляется в житейское лоно, облачаясь по пути в одежды, соответствующие земному зрению и привычке.

Как писатель Сковорода воспитан прежде всею на чтении Библии, а не диалогом Платона, поэтому его стиль собеседования — не построение системы образнологических доказательств, а открытая проповедь.

Умные поймут и прямо, без притчи, что не прозревшим для прямого созерцания идеального света нужно дать понятие об истине через притчу, и чем притча доступнее, тем верней.

Вот почему в «разговорах! Сковороды исходная идея то и дело облекается В одежды притч, побасенок, пословиц, площадного юмора. Как правило, почти в каждом «разговоре»

присутствует грубовато-комичная фигура некоего тугодума упрямца. Друзья сочувственно хлопочут вокруг него, терпеливо объясняй, что. как и почему. Беседа движется замедленно: ворчливый и недоверчивый «любомудр» то и дело спотыкается на повороте непривычного доказательства. Тогда раздосадованным друзьям приходится начинать все заново. Они приводят иные, еще более наглядные примеры свой правоты. Наконец мы видим, что воз как будто сдвинулся с места: наш упря мец радостно отзывается на один из аргументов приятелей. Но им-то рано радоваться! Еще не раз и не два они придут в отчаяние от новых свидетельств его непонятливости. Тут силлогизмами ничего не докажешь. Тут важно пример какой-нибудь подыскать поярче и поочевидней, а то и вышутить в глаза, а то, наконец, и побранить…

Эта постоянно наличествующая в «разговорах» общедоступность тона, этот их принципиально демократический колорит — вот здесь то и можно говорить о вполне очевидной «сократичности» — характернейшая черта стиля Сковороды-писателя. Юмористические пассажи и реплики, родственные знаменитым «сократическим снижениям», контрастируют с глубоко серьезной задачей бесед, четче проявляют жизненно принципиальные для автора темы. Он не боится соседства смешного и серьезного, высокого и низкого. Философские тезисы благодаря постоянным комическим перебивкам защищены от того, чтобы зачерстветь в категорических наукообразных формулировках. Сковорода философствует с неизменной улыбкой. Вся философия его — улыбающаяся. Участники «разговоров» — сообщество, веселящееся в духе. И итог их встреч — радость от сознания совместно постигнутой мудрости — «взаимное сердец лобызание».

Интересно было бы проследить за тем, кто именно из современников и друзей Сковороды скрыт за персонажами его диалогов. Есть, например, мнение, что заядлый и неугомонный спорщик Афанасий (эта фигура встречается сразу в нескольких «беседах») — не кто иной, как Афанасий Панков, чиновник из Острогожска, которому Григорий Саввич посвятил в свое время сборник «Басен Харьковских». Однако далеко не для каждого персонажа диалогов удается подыскать такой реальный прообраз. Как быть, допустим, с именем Яков? Ведь известно, что среди друзей Григория Саввича было три Якова — Яков Правицкий из Бабаев, острогожский живописец Яков Иванович Долганский и Яков Михайлович Донец-Захаржевский. О Долганском мы не имеем других сведений, кроме единственного письма к нему от Григория Саввича. Что же касается Якова ДопцаЗахаржевского, то

о его взаимоотношениях со странствующим философом документальных свидетельств осталось гораздо больше.

Род Донцов-Захаржевских известен был на Слобожанщине именитостью предков не менее, чем семейство Тевяшовых. В XVII веке славный своими воинскими заслугами полковник Григорий Ерофеев Донец верой и правдой служил царю Алексею Михайловичу: с именем его связана первоначальная история Харькова, строительство крепости и города Изюма. Многочисленные отпрыски Григория пошли по военной линии, род Донцов укоренился на Слобожанщипс, преимущественно в юго-восточной ее части, со своеобразным центром в селении Великий Бурлук.

Бурлук по частоте посещений и продолжительности пребывания в нем Сковороды — второе место на Слобожанщине после Гусинки. Чем ближе дело подходило к старости, тем охотнее Григорий Саввич оставался тут зимовать, пережидая немилостивые для степного пешеброда месяцы.

Секундмайор Яков Донец-Захаржевский — личность, во многом не совпадающая с традиционным обликом сановитого помещика XVIII века. У него было шестеро братьев, между которыми в 1784 году составился документ о полюбовном разделе родительского наследства. По этому договору Бурлук достался Якову Михайловичу и еще двум братьям. Многие письма Захаржевского родственникам полны жалоб: видимо, совместное хозяйствование в Бурлуке выглядело весьма далеким от патриархальной идиллии. Болезненный и совестливый Яков Михайлович — натура страдательно-пассивная — выступает чаще всего в роли жертвы своих родичей, не стесняющихся в средствах, ведущих себя явно не по-братски: «…под старость наградил меня Всевышний клопотами несносными… остается мне таперича благодарить Его святую волю за то, что не дал силы человеку управлять воздухом! А если бы могли, право б, и то отняли, а воду с пахотью и лугами отрезали по самый завод, и даже и огород в их части остался». «Утешаюсь истиною, написанною в премудрости «мир любит свое» и потому доказательно, что я не от них: любили бы, если бы я одного сорту был с ними…»

Спасаясь от семейных склок и препирательств, Захаржевский часто уединялся в лесной своей даче — Константиновской роще. Похоже, что любовь к этому роду «пустынножительства» была привита ему примером Сковороды. Влияние отшельнического опыта Григория Саввича сказывается даже на стиле писем Захаржевского: «Кто вам сказал, чтобы уединение тяготило меня? Нет! Оно одно родит душевные мысли и расширяет их вышше солнца…»

К девяностым годам здоровье Якова Михайловича расстроилось, наступил паралич рук и ног. Сохранилось предание о том, как сын Захаржевского Андрей вошел однажды в комнату к больному родителю, чтобы посоветоваться о строительстве большого каменного храма в Бурлуке, и Яков Михайлович, спокойно выслушав его, совершенно неожиданно поднял больную руку в твердом благословляющем жесте. Если этот эпизод с чудесным выздоровлением и не более чем семейная легенда, все равно за ним проглядывает незаурядная натура, сильный дух, который, кажется, уже и погребен под гнетом житейских невзгод, но способен вдруг выплеснуться на волю с необычной силой.

Этому вот лицу и посвятил Сковорода в 1790 году свою «Книжечку Плутархову о спокойствии души»: «Приимите милостиво от человека, осыпаннаго Вашими милостьми и ласками, маленький сей, аки лепту, дарик, маленькое зеркальце благодарности».

Размышления Плутарха о стяжании сердечной тишины, адресуемые теперь Захаржевскому, видимо, призваны были служить для того хоть и горьким, а целебным лекарством: «безчисленныя досады и грусти под позлащенными крышами и в красных углах кроются…»; «ныне всенавсе рвемся для одних нас заграбить и, будто гроздие от терния, обирать пялимся, возненавидев чрез неблагодарность собственну жизнь нашу, аки бедну и и недостаточну».

Яков Михайлович Захаржевский и его сыновья были в дружественных отношениях с Михаилом Коваленским. Именно через них последний, находясь на службе в стот лице, чаще всего поддерживает связь со своим учителем. По почтовой ветке Петербург — Бурлук осуществляется переписка двух друзей, пересылка всевозможных подарков Григорию Саввичу: от великосветского лакомства — «сыра-пармазану» до очков и музыкальных инструментов. Со Слобожанщиины (опять же, как правило, с оказией) следуют новые рукописи Сковороды; ничем более «материальным» он, увы, не в состоянии удивить своего друга.

Да и откуда бы взялась у него такая возможность?

«Не орю убо, ни сею, ни куплю дею…» Преподавание в Харьковском коллегиуме было последним в его биографии эпизодом, когда он еще поддерживал с обществом какието денежно-договорные отношения. Дальше Сковорода становится в полном смысле слова нищим и вливается в ту не поддающуюся подсчету кочевую человеческую стихию, которая существует исключительно за счет милосердия оседлого большинства.

Читателя не должно шокировать это слово — «нищий» — в

применении к нашему философу, так же, кстати, как и самого Сковороду нисколько не шокировала постоянно испытываемая им ситуация неимущего среди имущих и предержащих. Да, на протяжении десятилетий он жил исключительно за счет приятельских подарков, безвозмездных кредитов и подаяний. Но ведь поддерживать его существование они считали честью для себя.

Сковорода ушел в стихию нищеты добровольно, и в этом его уходе был какой-то дерзкий и отчаянный вызов извечному человеческому упованию на равномерное справедливое насыщение всех и вся. Он не вынуждаем был, а хотел быть бессребреником в мире накопителей. Он хотел быть нищим по убеждению, по духу.

В акте добровольного нищенства всегда присутствует своеобразная революционность; и она, конечно, вполне отчетливо осознавалась теми, кто с ситуацией подобного нищенства вынужден был считаться. Ведь как это ни парадоксально, но получалось, что нищие нужны, прямо-таки необходимы обществу, потому что, освободившись от нищих, оно зачерствеет, ожесточится. Нищие нужны, потому что нужно уметь отдавать, уметь дарить бею всякой надежды на отдачу и уметь делать, все это от сердца, а не через силу, не по общественному принуждению; по милосердию, а не во закону. Нищий в таком историческом освещении был не просто человек в лохмотьях и с торбой через плечо — изгой, отщепенец, попрошайка. В неприглядном этом существе проглядывал иной образ — странника с посохом в руке, того, кто постоянно ходит по земле и встречается с бесконечным множеством новых людей, и тысячи из них останавливаются на нем внимательным взглядом.

С Григорием Саввичем Сковородой однажды случилось необычное. Путешествуя по Слобожанщине, забрел он в малый городок Купянск. Пересекал улицу, вдруг его окликнули. Григорий Саввич обернулся и увидел, что к нему спешит пожилой человек, чем-то крайне возбужденный. По одежде незнакомец явно не был простолюдином. Тем удивительнее казались и поспешность, с которой он нагнал Сковороду, и волнение, что отражалось на его лице. Он глядел на Григория Саввича долгим влюбленным взглядом, будто навсегда впитывал в себя его образ: ты ли это»? точно ли это ты? так вот ты какой!..

И слов то между ними особенных, похоже, тогда не было говорено, но есть такие встречи, что в памяти сберегаются не многозначительностью проскучавших приветствий, а чем-то, что и в словах вряд ли возможно передать.

Через многие годы Сковорода, даря своему слобожанскому

знакомому Федору Ивановичу Дискому рукопись «Убогий жайворонок», вспомнил давнюю встречу с его родителем: «Иоанн, отец твой, в седьмом десятке века сего… в городе Купянске первый раз взглянул на мене, возлюбил мене… Воистину прозрел дух его прежде рождества твоего, что я тебе, друже, буду полезным. Видишь, коль далече прозирает симпатия».

Диские владели в купянских степях селом Дисковка и слободой Юрьевка, в которых Сковорода, вполне возможно, бывал. Где-то на рубеже нового столетия Федор Иванович Диской переселился на постоянное жительство в Москву. До конца своих дней он, как свидетельствует современник, имел «благоговейное почтение» к памяти Григория Саввича, а «сочинения Сковороды были самым любимым его чтением». В круг столичных знакомых Диского-младшего входили люди, широко известные в научном мире. В частности, он был знаком со знаменитым археографом и исследователем древнерусской письменности К. Ф. Калайдовичем. Так же как Ковалинский и Томара, Дпской способствовал распространению в столичных кругах сведений о малороссийском философе и его сочинений.

Представляет интерес еще один слобожанский «адрес» Сковороды: дом помещика И. И. Мечникова. (Это тот самый род, из которого происходит выдающийся отечественный ученый Илья Ильич Мечников.) В XVIII веке Мечниковы владели землями в окрестностях Купянска. О дружбе этой семьи со Сковородой приводит сведения Гесс де Кальве, который был женат на дочери купянского Мечникова, Серафиме. (Вероятнее всего, именно семейные предания и явились для него главным источником при составлении биографического этюда о философе.)

Отношения Сковороды с многочисленными его слобожанскими друзьями и знакомыми были, однако, далеко не всегда безоблачными; это, кстати, мы можем почерпнуть из заметок того же Гесса де Кальве, приводящего подробности об одном из самых дальних хождений, которое в начале восьмидесятых годов предпринял пожилой уже странник. Имеется в виду его путешествие в Таганрог, к младшему брату Михаила Ковалинского Григорию. (Дорога в один конец даже по тем временам заняла очень большой срок — около года.)

Григорий Саввич был в жизни в общем-то очень выносливый, терпеливый и терпимый ко многому человек. Хватило же у него выносливости, чтобы совершить под старость такое вот затяжное хождение! Но одного он никак не выносил, и с годами все более: неестественности, в каких бы формах она ни проявлялась. Во всем, что окружало его — будь то вещи или человеческие характеры, — ценил он точное соответствие природному

назначению. Всяческая искусственность его раздражала, отвращала, доводя порой до гнева. Любя естественное в других, он и по отношению к себе требовал от окружающих поведения чистого, недвусмысленного. Да, он нищ и незнатен, но, кажется, он тоже не обделен своей долей со стола премудрости. Оп, слава богу, не бродячий шут, не паяц, по подкормок при дворах и хоромах, не какая-нибудь заморская мартышка напоказ!

А что получилось в Таганроге?! Сотни верст бодро отшагал старик, согреваемый предчувствием встречи с бывшим своим учеником, а вот встреча вышла такою, что почти сразу бросился он назад, по еще отчетливым своим вчерашним следам.

Правда, началось все как нельзя лучше. Его так долго ждали, уже и не чаяли увидеть у себя! Он все такой же, Григорий Саввич, молодой да веселый, года его не берут!..

Вот в чистой рубахе, омытый от дорожной пыли, обласканный хозяевами, странник сидит под вечер в комнате, при свежем морском ветерке, задувающем в окно, сидит, наслаждаясь дружеской беседой. А между тем маленький провинциальный Таганрог уже весь взбудоражен. Слуги носятся с приглашениями. Приглашенные ждут не дождутся назначенного часа. Одичавший в бездействии слух провинциала любую свежую весть принимает как-то наискось и набекрень. Предположения родились лихие: говорят, что к Григорию Ковалинскому собственной персоной пожаловал бывший фаворит императрицы Елизаветы; иные же говорят, что пришелец — не кто иной, как ловко перерядившийся в бродяжку мастер черной магии — тот самый, что, как известно, в Петербурге на целую неделю заморозил взглядом жену старшего Ковалинского.

И жутковато идти на погляд этакого живого монстра, и не пойдешь — обидно!..

Посреди беседы что-то вдруг забеспокоило Григория Саввича: к чему бы эти шумы, шушуканье, поскрипывание половиц? И эти люди, совершенно незнакомые, но с таким одинаковым глуповато-выжидательным выражением на физиономиях!

Рассаживаются. В упор разглядывают его. Шепчутся. Покашливают. Ждут. Нука, что за диковинную речь произнесет этот Сковорода?

Но тут он как раз и замолк.

Народу в комнате все больше. Вновь входящие недоуменно озираются: отчего такая неестественная тишина? Неопытному в светских приемах хозяину тоже как-то не по себе. Он пытается представить присутствующим угрюмого гостя, сбивается на высокопарность, совсем смешался.

— Я сейчас, сейчас, — мрачно бормочет Григорий Саввич и

мелкими шажками продвигается к двери.

Вот он на улице, во тьме. Почти бегом, нелепо и гневно размахивая руками, пересекает широкий двор. Остановился на пороге заброшенного сарая, идет на ощупь, натыкается на что-то громоздкое. Это, кажется, кибитка. И, свернувшись калачиком на ее жестком сиденье, чувствует себя мальчиком-сиротой, заброшенным в чуждый мир…

Так или примерно таким же образом Сковорода убегал не однажды. Вот эпизод из другого биографического этюда, почти дословно повторяющий таганрогское происшествие: Григорий Саввич в дружеском собрании пересказывал однажды содержание своей новой книги. «Вдруг дверь с шумом растворяется, половинки хлопают, и молодой Х., франт, недавно из столицы, вбегает в комнату. Сковорода при появлении незнакомого умолк внезапно. «Итак, — восклицает Х., — я, наконец, достиг того счастья, которого столь долго и напрасно ждал! Я вижу, наконец, великого соотечественника моего, Григория Саввича Сковороду! Позвольте…» — И подходит к Сковороде. Старец вскакивает; сами собою складываются крестом на груди его костлявые руки; горькой улыбкой искривляется тощее лицо его, черные впалые глаза скрываются за седыми нависшими бровями, сам он невольно изгибается, будто желая поклониться, и вдруг прыжок, и трепетным голосом: «Позвольте, тоже позвольте!» — И исчез из комнаты. Хозяин за ним; просит, умоляет — нет! «С меня смеяться!» — говорит Сковорода и убегает. И с тех пор не хотел видеть Ха».

Кто этот Х., так резко и запанибратски налетевший на Григория Саввича, автор очерка не сообщает. Известно, что событие произошло в доме харьковского аптекаря Петра Федоровича Пискуновского.

О том, что странствующий старец в последние десятилетия своей жизни неоднократно навощал этот дом, сохранилось несколько сведений. Самое подробное из них — в заметках о Сковороде харьковского литератора Ивана Вернета, о котором здесь тоже следует упомянуть.

Странным и экзотическим существом был этот выходец из Швейцарии — Иван Филиппович Вернет. В юные лета он числился чтецом у Суворова (который его, видимо, за какие-то особенности характера упорно именовал Филиппом Ивановичем). Потом служил гувернером в различных харьковских домах, занимался журналистикой. Вернета увлекали идеи Руссо об опрощении, но в то же время он стыдился своей бедности и, обожая комфорт, предпочитал роль краснобая нахлебника в богатых домах. В быту он слыл чудаком. Харьковчане нередко

видели его во время необычного купания: Вернет залезал в воду во всей одежде, потом сушил ее на прибрежных кустах и, пока она сохла, сам стоял в реке, читая газету.

Сковороду он недолюбливал. Григорий Саввич отвечал Вернету тем же. Эта их взаимная неприязнь отчетливо проглядывает в заметках последнего о философе.

И в то же время, не любя Сковороду, Вернет постоянно стремится подражать ему в образе жизни: всячески афиширует свое пристрастие к странничеству, выставляет себя суровым нелюдимом. В своих писаниях он то и дело сравнивает себя со Сковородой; и эти сравнения, как правило, весьма легкомысленного характера. Вот одно: «У меня один конек с покойным Сковородой. Надобно, чтобы любил тех, у коих обедаю».

Впрочем, ветреного, манерного Вернета в Харькове всерьез не принимали. Внимательному взгляду сразу открывалась целая пропасть между самобытной натурой Сковороды и легкомысленным литератором, которого Григорий Саввич несколько резковато, но, должно быть, не без оснований назвал однажды «мущиною с бабьим умом» и «дамским секретарем».

Пародирование — не только литературный жанр. Иногда оно становится жизненной задачей, формой существования определенного лица. Наблюдать такую ожившую, «ходячую» пародию — удовольствие не из приятных. Уж не Вернет ли послужил прототипом для фигуры заезжего франта, который в доме аптекаря Пискуновского набросился со своими душеизлияниями на не терпящего фальши Григория Саввича?

Не зря было сказано нише, что выделять в биографии Сковороды четко очерченные жизненные периоды удается далеко не всегда. Слобожанские десятилетия — это время, когда мыслитель жил преимущественно за пределами больших городов. Но все-таки раз от разу мы обнаруживаем следы его пребывания в Харькове. Окончательно Григорий Саввич никогда не расставался с этим городом. От наезда к наезду возобновлялись старые знакомства, прибавлялись к ним новые.

Видимо, уже в восьмидесятые годы у Сковороды завязались дружеские связи сразу с несколькими представителями харьковского купечества. Этот несколько неожиданный адресат его привязанностей но должен нас удивлять. Купечество в городской жизни XVIII столетия было средой, во многих отношениях примечательной. Лучшие его представители, наследуя традиционные черты старорусского купечества, жили не одними лишь торгово-предпринимательскими интересами, но накладывали своеобразный отпечаток на характер

урбанистической культуры. Из этой среды выходили знатоки письменности, щедрые покровители искусств, владельцы книжных и художественных коллекций.

Харьковский знакомый Сковороды, купец третьей гильдии Егор Егорович Урюшш, вошел в историю Слобожанщины как один из инициаторов открытия местного университета. В течение более чем десяти лет он был бургомистром в городском магистрате, много усилий вложил в благоустройство губернского центра.

В 1790 году, вернувшись из Харькова в Великий Бурлук, Григорий Саввич отсылает Урюпину письмо с благодарностью за теплый прием: «Седмицу у тебя почил старец Сковорода, аки в матерном доме». Далее из письма следует, что в этом же доме свиделся он и с другими представителями местного купечества, с неким Артемом Дорофеичем Рощиным, со Степаном Никитичем Курдюмовым. С последним Сковорода тоже состоял в переписке, которая потом в течение десятилетий аккуратно сберегалась в семейном архиве Курдюмовых.

Скорее всего из купеческого сословия был и Иван Иванович Ермолов, к которому Сковорода обращается в письме с, просьбой «о шубке ярославской». «Зима идет, а старость давно уже пришла. Надобно для нея теплее и легче, да сия ж купля и по нищенскому моему капиталу».

Вообще харьковские купцы неоднократно поддерживали странствующего философа в материальном отношении. Все тому же Егору Урюпину Сковорода сообщает: «Я вашим вином не только в дороге, но и дома пользовался!» И проси: «Пришлите мне ножик с печаткою. Великою печати) не кстати и не люблю моих писем печатать. Люблю печататься еленем. Уворовано моего еленя тогда, когда н у Вас в Харькове пировал и буянил».

Надо сказать, что эти последние строки некоторых биографов Сковороды не на шутку смущали. В свое время возникло даже целое разбирательство на тему: не был ли почтенный старец пристрастен к горячительным напиткам? Но вряд ли подозрения такого рода обоснованы. Ведь о своем харьковском «пировании» Сковорода пишет — этого нельзя не видеть — с явной иронией. Надо полагать, что к вину, как и ко всем прочим предметам плотских вожделений, относился он с мудрой сдержанностью. Глоток-другой доброго вина для старого человека, которою собственная кровь уже отказывается согревать, — это своего рода философическая микстура, не более. Это милосердное напоминание о солнечном весеннем тепле, о друзьях, которых сейчас от старого человека отделяют занесенные снегом степи…

Во время одного из наездов в Харьков Григорий Саввич

познакомился с новым здешним генерал-губернатором Василием Алексеевичем Чертковым. Как в свое время и его предшественник, Чертков приветил знаменитого странника, зазвал к себе и гости, выказав благорасположение, которым Сковорода позднее имел случай воспользоваться. В одном из писем он просит Черткова оказать поддержку некоему Аверкию: «Аще правда благословит и сила довлеет, помогите ему ради его. Аще недостоин, помогите ему ради Вас самих. Вы ведь родились на то, дабы дождить на злыя и на благия».

Очерк слобожанских маршрутов Сковороды, перечень и характеристики его друзей и знакомых основаны на весьма ограниченном круге документальных свидетельств (главным образом письма). Среди адресатов Григория Саввича мы видим, как правило, помещиков, представителей гражданской власти и городской интеллигенции, бывших его учеников, купцов. Даже если предположить, что сохранилось большинство его писем слобожанских десятилетий (а скорее всего, до нас дотла лишь малая их часть), все равно они не дают удовлетворительного представления о том, каков был диапазон дружеских симпатий и привязанностей мыслителя. В безымянной и бесписьменной гуще народной жизни навсегда растворились, быть может, самые сокровенные и значительные черты его духовного облика. Слово, по записанное на бумаге, а произнесенное вслух, расходится широко, но зато быстро гаснет, растворяется в воздухе. Но, может, это все-таки мнимый ущерб, и произнесенный звук где-то хранится до времени?

Тот факт, что образ Сковороды сберегся в памяти народной, подтвержден свидетельствами позднейшей эпохи. Приведем одно из них, принадлежащее известному историку прошлого века Н. И. Костомарову: «Мало можно указать таких народных лиц, каким был Сковорода и которых бы так помнил и уважал народ. На всем пространстве от Острогожска (Ворон, губ.) до Киева, во многих домах висят его портреты; всякий грамотный малороссиянин знает о нем; имя его известно очень многим из неграмотного народа; его странническая жизнь — предмет рассказов и анекдотов; в некоторых мостах потомки от отцов и дедов знают о местах, которые он посещал, где любил пребывать, и указывают на них с почтением; доброе расположение Сковороды к не: которым из его современников составляет семейную гордость внуков; странствующие певцы усвоили его песни, на храмовом празднике, на торжище нередко можно встретить толпу народа, окружающую этих рапсодов и со слезами умиления слушающую: «Всякому городу прав и права».

Сковорода-поэт запомнился в народе больше, чем Сковорода-

философ. Это вполне естественно: поэтическое слово, да еще сопровожденное мелодией, запечатлевается в общей памяти гораздо прочней, чем слово книжное. На Харьковщине еще в первой четверти нынешнего столетия доживали свой век народные певцы-лирники, в репертуаре которых была песня «Всякому городу…» (причем исполнялась она в редакции, независимой от известной арии на «Наталки-Полтавки», где частично использован сковородинский текст).

И все-таки не только по песням да стихотворениям знала и помнила своего старчика народная среда. Некоторые его «разговоры» и фрагменты из них вошли в круг чтения образованного крестьянства. Описывая в одном из стихотворений свои мальчишеские годы, Тарас Шевченко вспоминал, как и он однажды, пусть наивно, но старательно принял участие в рукописном размножении сочинений народного мудреца:

…куплю
Паперу аркуш.
І зроблю Маленьку книжечку.
Хрестами І Візерунками з квітками
Кругом листочки обведу.
Тай списую Сковороду…

Конечно, эти и им подобные свидетельства достаточно обрывочны. С гораздо большим успехом, чем влияние идей Сковороды на народную среду, выясняется влияние обратное — народной мудрости на стиль и характер его мышления. Кажется, никто из писателей XVIII века, русского или малороссийского происхождения, но умел так свободно, непринужденно и обильно пользоваться сокровищами народной афористики, как делал это Григорий Сковорода. Пословицы, поговорки украинские, русские, других славянских народов в его диалогах — не орнаментальное украшение, а живая, свежащая стихия, находящаяся в энергичном взаимодействии с крылатыми словами античных писателей или изречениями библейских пророков. Да и его собственные афоризмы выдержаны все в том же духе народного пословично-поговорочного искусства: в них так много словесной игры, лукавства, озорства.

Отношение Сковороды к народной жизни никогда не было для него самого темой сложных и запутанных переживаний, какою оно сделалось для типичного интеллигента позднейших времен. Ему никогда не нужно было «ходить в народ», потому что он постоянно жил в народе, был неотделим от него. Его отношение к народу не носило экзальтированного, романтически-

восторженного характера, обратной стороной которого всегда, как правило, является комплекс «вины перед народом», искусственно подогреваемое чувство «векового долга перед народом».

Он в народе был, что называется, «солью земли», в его личности откристаллизовались самые сокровенные соки народного опыта; и это качество являлось падежной гарантией от всевозможных кривизн: Сковорода никогда не делает своею низового происхождения козырем, ни перед кем не играет «в мужика», и, с другой стороны, никогда и нигде не увидим мы его в столь многих прельщающей позиции, про которую справедливо и убийственно в народе говорят: «из грязи в князи».

Социальное поведение Сковороды — это по преимуществу доброжелательно-испытующее приглядывание ко всем формам и проявлениям современной ему общественной жизни. Слобожанские десятилетия его биографии — очевидное свидетельство того, как неутомима в нем была жажда знакомиться с новыми людьми, на какой бы ступени иерархической лестницы они ни находились. Поразительна эта его открытость навстречу любой человеческой судьбе. В его жизненный опыт, невольно потрясающий своим объемом, входило знание буквально всех сословий общества: крестьянин и помещик, купец и чумак, губернатор и аптекарь, литератор-профессионал и слепой лирник, ректор и молоденький студент, генерал и солдат, придворный чиновник и мещанин, кабинетный ученый и бродячий дьяк, архиерей и простой сельский священник — вот круг лиц, далеко не полно очерчивающий степень его житейской практической осведомленности.

Сковорода всегда в человеческом окружении. Ему здесь не тесно, ему с каждым есть о чем поговорить. Даже пустынножительствуя в лесном захолустье, он своими письмами продолжает этот разговор с десятками самых разных людей.

«Украинский Сократ»? Что ж, пожалуй, это сравнение не так уж формально. Сократическое начало в личности Сковороды безусловно есть, и оно, может быть, прежде всего обнаруживает себя именно в этом его свободном самочувствии на людях, в ошеломительной мощи житейского опыта, в неутомимом желании перекинуться с кемнибудь словцом-другим, а там, глядишь, втянуть в беседу, разбудоражить дерзкой мыслью, и все это с улыбкой, почти шутя, где-нибудь на городской площади или на степной дорого, или в тени дерева, где собеседники укрываются от полуденного жара.

У ДРЕВНИХ СТЕН

Образ Сковороды — странствующего мыслителя — будет далеко не полным, если, проследив его слобожанские пути-дороги, мы упустим из виду одну чрезвычайно важную тему. Эта тема — монастырские адреса и знакомства Григория Саввича.

Ковалинский свидетельствует, что во второй половине жизни Сковорода пребывал «в монастырях Старо-Харьковском, Харьковском училищном, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском и проч. по несколько времени». Если к этому перечню слобожанских монастырей добавить еще Киево-Печерскую лавру и Катаеву пустынь — обитель в окрестностях Киева, где Сковорода жил летом 1770 года; если вспомнить, что с монастырским бытом и наставниками-монахами он познакомился уже в отроческом возрасте, когда поступил в учебное заведение монастырского типа; если, далее, упомянуть Переяславское монастырское училище, Троице-Сергиеву лавру и Белгородский монастырь, то мы обнаружим, что на любом почти биографическом отрезке, от молодости до старости, многие весьма значительные события в жизни Сковороды развиваются именно у монастырских, а шире сказать, у церковных стен.

Это очень внушительный жизненный опыт. Настолько внушительный и очевидный, что он весьма часто служил и служит камнем преткновения для исследователей, поводом или для крайне односторонних выводов, или, что не лучше, для отмалчивания:.

Мы уже успели заметить, что в отношении Сковороды к обитателям монастырей то и дело обнаруживала себя какая-то странная двойственность. Как это объяснить, что он вроде бы и постоянно тянется к монастырским стенам, но и не менее постоянно отталкивается от них? Можно вспомнить и эпизод в Троице-Сергиевой лавре, когда молодой странник вежливо отказался остаться в обители на более продолжительный срок; и размолвку с Гервасием Якубовичем, когда Сковороде было предложено Припять монашеский постриг; и, наконец, его грубовато-насмешливый выпад в адрес монахов-приятелей в Киево-Печерской лавре. Почему все-таки получалось так, что уважаемый гость, милый, словообильный и откровенный Сковорода вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, оборачивался ершистым и колючим строптивцем? Откуда брался этот петнет да и вспыхивающий огонек неприязни, озлобленности? В конце концов, не хитрил ли он перед самим собой, не хитрил ли перед теми, кто дружелюбно распахивал для него монастырские ворота?

Было объяснение: Сковорода де, являясь последовательным антицерковником, сознательно проникал, так сказать, в ряды и порядки противника, чтобы изнутри расшатывать враждебные ему устои.

Это очень эффектное, но и очень зыбкое объяснение. Ему не только не хватает фактов, но и прежде всего психологической мотивированности. Нельзя даже и вообразить себе, чтобы в открытом, ясном характере прямодушного Григория Саввича гнездился столь мелочный иезуитизм, чтобы он был способен на духовное лазутничество.

Да и как это он мог проникать, вламываться, вторгаться? Вспомним: в ТроицеСергиевой лавре он живет как гость настоятеля, в Белгородский монастырь приходит как гость архимандрита отца Гервасия, в Киево-Печерской лавре тоже пребывает на положении почитаемого гостя.

Теперь, если мы присмотримся к монастырским адресам, которые перечислены Коваленским, то и здесь обнаружится та же закономерность: Сковорода никогда не навещает «чужого» монастыря, то есть обители, в которой у него нет знакомых.

Так, в Сумском монастыре, что в десяти верстах от города Сумы, во время пребывания там Григория Саввича настоятельствовал его сверстник, выпускник Киевской академии Иоакинф Боярский. В сеннянском Покровском — семь верст от слобожанского городка Сенной — игуменом с 1764 по 1787 год был Исайя Земборский, из семейства Земборских, уже известных нам почитателей Сковороды. Куряжский Преображенский монастырь, в котором, как известно, он жил летом 1767 года, а вероятно, захаживал сюда и позже, возглавлял в те времена Наркисс Квитка, родной дядя известного украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко. Существует предположение, что Сковорода был знаком с семейством харьковских Квиток. Не «экзотическое» ли имя куряж-ского настоятеля — Наркисс, — столь редко встречающееся в славянской монашеской среде, подсказало Григорию Саввичу заглавие для первого философского диалога, для «Наркисса»?

Мог быть гостем Сковорода и в Воскресенском девичьем монастыре, который находился недалеко от Бабаев и в котором игуменствовала с 1764 по 1777 год его «духовная матерь» (так Григорий Саввич называет ее в письме Якову Правицкому) игуменья Марфа. Она ведь принадлежала к роду Авксентьевых, а Сковороде этот род тоже был знаком: в 1774 году он гостил «в Липцах, у Алексея Ивановича Авксентиева».

В 1770 году, когда Григорий Саввич приехал в Киев и обосновался в Китаевой пустыни, ее настоятелем был Иустин

Зверяка, в прошлом лаврский типограф и, по-видимому, его двоюродный брат («брат мой, Иустин Зверяка, бывший тогда игуменом…»).

Из Китаева Сковорода часто ходил пешком в город — повидаться со старыми приятелями. Однажды во время такой прогулки с ним произошло нечто, резко выделяющееся своей необъяснимостью с точки зрения здравого смысла — даже на фоне других необычных событий в его жизни. Шагая по спуску с Андреевской горы на Подол, он вдруг остановился, встревоженный неприятным запахом. Смрад натягивало ветерком откуда-то снизу, от крыш и палисадов, от базарных прилавков Нижнего города. Может, просто-напросто то был запах подгнивающих под жарким солнцем отбросов, облепленного мушней мяса? Нет, Григорию Саввичу почудилось. и еще что-то. Забыв о цели своей прогулки, он тут же поворотил назад, в Китаев. И как только, запыхавшийся от быстрой ходьбы, достиг своей келейки, не медля ни минуты, принялся за сборы.

Что такое опять стряслось с гостем, куда это он надумал бежать? Кажется, ведь и повода к обиде никто не подавал? — недоумевали вокруг него. Но Григорий Саввич, вероятно, и сам недоумевал не меньше: не мог он объяснить толком, что с ним случилось, но случилось что-то такое, после чего он совершенно отчетливо понял: пора в дорогу, и побыстрей…

На следующий день ею уже не было в Киеве.

Целых две недели шел он и шел но харьковской дороге и только в маленьком городе Ахтырка позволил себе сделать остановку, впрочем, не в самом даже городе, потому что от него отшагал еще несколько верст, пока не забелели впереди, на лесистой горе, храмы и кельи ахтырского Троицкого монастыря.

Сюда-то спустя несколько дней и докатилась по следам беглеца страшная весть: в Киеве — моровая язва. Город закрыт.

Впрочем, и Ахтырская обитель по была для Григория Саввича случайным пристанищем. Даже теперь, при столь чрезвычайных обстоятельствах, он остался верен своему постоянному правилу — заходить только к друзьям: архимандритом в Троицком монастыре был старый товарищ Сковороды, отец Венедикт.

С этим именем в нашем обзоре монастырских адресов Григория Саввиче связано еще одно место. В 1787 году, накануне путешествия императрицы Екатерины II по Украине, отец Венедикт получил назначение из Ахтырки в Святогорский Успенский монастырь на Северском Донце. Это была самая живописная по местоположению обитель на всем юге страны, она, естественно, вошла в список достопамятностей, которые предполагалось показать императрице. Однако но каким то

соображениям этот маршрут был отменен. (Может быть, потому, что Екатерина вообще держала себя весьма «прохладно» по отношению к монастырям и их обитателям?)

По свидетельству Ковалинского, Григорий Саввич навещал Святые Горы, трудно лишь сказать, когда именно: при отце Венедикте или значительно раньше, когда игуменом здесь был его опальный харьковский друг Лаврентий Кордет. Но скорее всего, что Сковорода наведывался сюда и при том, и при другом игумене. В восьмидесятые годы, как мы помним, он живет преимущественно в Купянских степях и более всего в Гусинке. Расстояние от. Гусинки до Святых Гор для такого неутомимого ходока, каким был Сковорода, совсем невелико. У города Изюма Северский Донец входит в дремучую урему, которая не обрывается на протяжении 35 верст, до самого монастыря. Река пробила тут русло под гребнем меловых скал, поросших лиственными дубравами и соснами. На светлом откосе одной из скал видны ячейки пещерных входов, а на острие ее, утвердясь на меловом фундаменте, белеет маленький храм. Основные монастырские постройки расположены значительно ниже, у подошвы горы, и соединяются с верхнею церковью ступенеобразной стеной. Река сверху кажется тесно сжатой горами и лесом. Нег много диковатая, суровая красота.

По преданиям, в здешних пещерах, прорытых внутри скалы, отшельники укрывались со времен весьма отдаленных: для создания в каменистом грунте разветвленной сети пещер нужны были целые века, и потому есть догадки, что обитель гораздо старше, чем первые летописные упоминания о ней (от 1547 и 1555 годов), и возникла едва ли не одновременно с киевским пещерным городом.

Бродя по окрестностям этого монастыря, весьма с тех пор изменившимся, можно все-таки понять, почему с охотой хаживал сюда Сковорода. Сочетание гористых берегов, буйной растительности и храмовых строений, почти поглощенных ею, создавало образ отшельнической архаики, перенося воображение посетителя ко временам первоначального подвижничества. Здесь он мог представить себе горные пейзажи Афона пли неприступное каменное гнездовье обители Саввы Освященного. Монастырь стоял в сравнительном отдалении от шумных дорог, сюда добирались лишь настоящие, истовые богомольцы, да и монахи тут жили настоящие, не избалованные вниманием праздношатающихся зевак.

В таких вот прекрасных глухих углах и закоулках была еще для него надежда увидеть то, что поддерживало и укрепляло в нем самом силы для противостояния «миру».

И тут необходимо сказать, что хотя Григорий Саввич никогда в своей жизни не носил монашеской рясы, хотя неоднократно он отказывался от монашеского пострига, хотя иногда делал он это в довольно резкой и вызывающей форме, а все-таки, как ни парадоксально, в его облике определенно были некоторые черты сходства с обитателями отшельнических затворов.

Ковалинский приводит в биографии замечательный твоей выразительностью «портрет» учителя — описание его каждодневных правил и привычек: «Он одевался пристойно, но просто, пищу имел, состоящую из зелий, плодов и молочных приправ, употреблял оную ввечеру по захождении солнца; мяса и рыбы не вкушал не по суеверию, но по внутреннему своему расположению; для сна отделял от времени всего не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады; всегда весел, бодр, легок, подвижен, воздержан, целомудрен, всем доволен, благо душествующ, унижен пред всеми, словоохотен, где ни принужден говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей, посещал больных, утешал печальных, разделял последнее с неимущими, выбирал и любил друзей по сердцу их, имел набожество без суеверия, ученость без кичения, обхождение без лести».

Итак, «монах в миру»? Но достаточно ли полой этот портрет, не слишком ли идеализирован в нем Сковорода, тот самый, которого на монастырских дворах мы так часто видели внутренне стесненным, с минуты на минуту готовым схватить свою суму и бежать?

Во второй половине XVIII века монастыри и их обитатели испытали сильное давление со стороны правительства. Имеется в виду знаменитый антимонастырский указ Екатерины II от 1764 года, в результате которого подверглось упразднению множество монашеских обителей страны. Императрица не собиралась выражать «вое отношение к русской церковной жизни в тех грубых и кровавых формах, которые практиковались во времена Анны Иоановны и Бирона. В частности, и наступление ва монастыри теперь аргументировалось не личной к ним антипатией, а сугубо экономическими соображениями. От монастырей нет никакой практической пользы, они лишь плодят тунеядцев, изымая из государственного употребления тысячи десятин земли, а из государственной казны — миллионные доходы. В своей секуляризационной политике Екатерина невольно принуждена была считаться с ростом стихийных волнений монастырских крестьян, с протестом крестьянской

России против усиления эксплуатации и крепостной кабалы. Можно сказать, что массовые волнения монастырских крестьян в середине столетия стали едва ли не главной причиной, побудившей императрицу принять активный антимонастырский курс. И вот повсеместно храмовые и крепостные строения стали разбирать на кирпичи, а вчерашних монахов толпами зачислять в богадельни.

Недовольство снизу отчасти развилось и в лоне самой церкви. Старообрядческое движение XVII века, которое носило на определенном этапе по преимуществу низовой, народный характер, создало первую по настоящему кризисную ситуацию в русской церкви, первую с самых времен ее возникновения. Но силы раскола недолго оставались монолитными и ослабили себя, быстро распавшись на различные «толки» и «согласия». В XVIII столетии параллельно со старообрядчеством в народной среде оформились новые религиозные движения, критические уже не по отношению к отдельным новациям официальной церкви, а к самой ее общественной сути.

Во второй половине века на юге страны, в частности и на Слобожанщине, объявились первые общины духоборов. В те же десятилетия возникла секта молокан. Сектанты — ни мало ни много — отвергали институт священства, таинство причащения, иконопочитание, посты, крестное знамение.

Наступала пора религиозных брожений самого пестрого характера. Объявилось сразу слишком много недовольных церковью, желающих от нее обособиться и утвердиться в самостоятельных религиозных регионах. Волна оппозиционных выступлений прокатилась по всем слоям общества. Тенденция к духовной многопартийности, может быть, нагляднее всего обнаружила себя в дворянском сословии, которое противопоставило официальной церкви свою оригинальную, рафинированную оппозицию — масонское движение. Отказываясь от одних обрядов, немедленно заводили обряды собственного изготовления, иногда грубо натуралистические, иногда пышно-театральные, с оглядкою на маскарад.

Что же было причиной для такого серьезного и решительного отталкивания самых различных религиозно-мистических новообразований от древних стен русской церкви?

В диалоге Сковороды «Брань архистратига Михаила со сатаною» есть эпизод, который часто приводится как свидетельство антиклерикальных взглядов мыслителя. Приведем его и мы. На небе происходит беседа между несколькими архангелами, один из которых, вглядевшись из заоблачной сферы на земную дорогу, восклицает: «Кое странное сие вижу

позорище!.. Пятерица человеков бредут в преобширных епанчах, на пять лактей по пути влекущихся. На головах капишоны. В руках не жезлы, но дреколие. На шее каждому по колоколу с веревкою. Сумами, иконами, книгами обвешены. Едва-едва движутся, аки быки, парохиальный колокол везущий».

«Сии суть лицемеры, — объясняет другой архангел, — мартышки истинный святости: они долго молятся в костелах, непрестанно во псалтырь барабанят, строят кирки и снабдевают, бродят поклонниками по Иерусалимам, — по лицу святы, по сердцу всех беззаконнее. Сребролюбивы, честолюбивы, сластолюбцы, ласкатели, сводники, немилосерды, непримирительны, радующийся злом соседским, полагающим во прибылях благочестие, целующий всяк день заповеди господни и за алтын оныя продающий. Домашний звери и внутрении змии лютейший тигров, крокодилов и василисков…»

«Мартышки истинный святости» поют песню, в которой есть следующее саморазоблачающее признание:

«Услыши, боже, вопль и рык! Даждь нам богатство всех язык! Тогдато тебе прославим, Златыя свечы поставим, И все храмы позлащешь Восшумлят твоих шум пений — Токмо даждь нам век злат!»

Первый архангел в гневе восклицает: «О смердящия гробы со своею молитвою. Сии блядолепныя лавры под видом божиим сатану обожают. Злоба, во одежду преподобия одета, есть то сатана, преобразивыйся во ангела светла. Ног сего злее во всем аде: опустошение царствам, церкви поколебание, избранных божиих прельщение… Отвратим очи паши от богомерзких сих ропотников, прошаков, лстецов и лицемеров. Не слышите ли, что шум, треск, рев, вопль, вой, свист, дым, жупель и смрад содомский восходят от сего пути?»

«Брань Михаила со сатаною» построена Сковородой как мистерийное действо. Пространство, на котором происходят события диалога, четко разгорожено на два эта жа: небесный и земной. Небесные жители наблюдают театр жизни, непристойную комедию торжествующего лицемерия, маскарад стяжателей и мздоимцев в обличье святости.

Но в этой картине, несмотря на ее жанровую условность и фантастическую гротескность, реального гораздо больше, чем фантастического. Сковорода прекрасно знает предмет, о котором пишет, и тут было бы излишним давать подробный фактический комментарий к обличительным страницам «Брани», — XVIII век оставил слишком уж много документальных материалов на эту тему.

Церковь тогда не столько претерпевала извне, сколько

испытывала тяжелый — как никогда прежде — внутренний недуг, выразившийся в катастрофическом обмирщении ее правящей верхушки, в формализации богослужения, в позиции лакейства и угодничества перед государственными инстанциями. Достаточно вспомнить) хотя бы знаменитого деятеля этой эпохи, который совмещал в своей персоне первенствующего архиерея и сочинителя одиозной литургии Бахусу, пародировавшей элементы богослужения, чтобы представить себе размеры и симптомы заболевания.

Можно вспомнить другого иерарха; он прославился тем, что в своем владении велел перелить колокола на мортиры и устраивал из этих мортир регулярную пальбу на монастырском подворье, долженствующую быть заменой обычного благовеста.

Это, конечно, курьезные аномалии — не каждому было по возможностям проявлять себя столь громким образом, — но аномалии не беспочвенные. Охотников носить на монашеской обуви бриллиантовые пряжки и палить из пушек под литургийное пение существовало гораздо больше, чем тех, кто имел возможность подобные желания осуществлять.

Религиозный протест народных низов, вызванный очевидным обмирщением официальной церкви, был в своей положительной программе обращен ко временам прошедшим. Для старообрядчества это была дониконовская Русь с ее идеалом «древлего благочестия», для более радикальных сектантов — времена первоначального христианства, когда церковь, будучи гонимой, еще не вступала в обременительный союз со светской властью, когда она обходилась еще без оплачиваемого и поставляемого сверху клира, без большинства сложившихся позднее обрядов.

Ныне широко употребляемый термин «обрядовое христианство», который обозначает преобладание в теле церкви внешнего, формального начала над внутренним, духовным, в первую очередь связан с обстановкой именно XVIII века; сама эпоха требовала такого термина.

В каком отношении к религиозным оппозициям находился Григорий Саввич Сковорода? Это вовсе не праздный вопрос, если учесть, что труды его со временем проникли в книжным обиход старообрядцев, что имя его было почитаемо в среде духоборов и молокан, и последние даже называли Сковороду «апостолом христианства». В 1912 году, публикуя его сочинения, В. Д. Бонч-Бруевич, много занимавшийся историей сектантства, пришел к выводу, что Сковорода являлся одним из теоретиков русских «духовных христиан».

С другой стороны, неоднократно высказывалось мнение о

близости отдельных идей философа к воззрениям масонов, в среде которых имя его также было известно, а отдельные труды даже печатались в масонских изданиях.

Кажется, уже сам факт одновременной популярности произведений Сковороды в таких трудно-соотносимых друг с другом течениях, как старообрядчество, сектантство и масонство, снимает вопрос о непосредственной связи мыслителя о тем или иным из этих течений.

Кроме того, все факты использования сочинений Сковороды в книжном обиходе упомянутых течений относятся ко времени, когда автора этих сочинений уже не было в живых.

Главное же, имеется на этот счет и совершенно недвусмысленное высказывание самого Григория Саввича. Его приводит Михаил Ковалинский, излагая содержание многодневного собеседования, которое состоялось между ним и Сковородой в августе 1794 года. Об исключительных обстоятельствах этого собеседования мы еще скажем впереди, а пока что заметим только, что оно стало для мыслителя своеобразным подведением мировоззренческих итогов; Сковорода высказался тогда по всем наиболее важным проблемам собственного творчества.

Что касается вопроса об отношении к «сектам», то ею, видимо, поднял ученик: «Речь доходила тут до разных толков или сект». Интерес Ковалинского к мнению Сковороды вполне понятен. Михаил, приехавший из столицы, достаточно информирован о религиозно-мистических брожениях в великосветских кругах Петербурга и Москвы, он знаком со взглядами и деятельностью масонов — в частности, московских мартинистов. Масонский вопрос — злоба дня: всего два года назад императрица официально запретила масонские ложи в России; тогда же виднейший из мартинистов, Н. И. Новиков, без суда и следствия был заточен в Шлиссельбургскую крепость. В чем-то взгляды масонов близки Коваленскому, в чем-то — по его представлениям — эти взгляды явно перекликаются с тем, что он неоднократно слышал от Сковороды (например, хотя бы этот, постоянно звучащий в диалогах учителя призыв — «познай себя!»). Но многое и смущает его: скрытность «каменщиков», их сословная брезгливость, пристрастие к вычурным обрядам…

И вот ответ Сковороды: «Всякая секта, — говорил он, — пахнет собственностью, а где собственномудрие, тут нет главной цели или главной мудрости. Я не знаю <мартынистов>, — продолжал он, — ни разума, ни учения их; ежели они особничествуют в правилах и обрядах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу знать их; если же они мудрствуют в простоте сердца,

чтоб быть полезными гражданами обществу, то я почитаю их; но ради сего не для чего бы им особничествовать. Любовь к ближнему не имеет никакой секты…»

Как видим, Сковорода высказывается здесь гораздо шире, чем только о масонах. Ов говорит о сектантстве как о типе социального поведения, как о болезненном проявлении гордыни человеческой: «Любовь к ближнему не имеет никакой секты». В этих словах не только укор всякому мировоззренческому «особничеству», но и совершенно четкая характеристика личной позиции. Сектантство плодит вражду, его можно уподобить стихийному потопу. «Призри, пожалуй, на весь сей земный клуб, — пишет Сковорода в диалоге «Потоп змиин», — и на весь бедный род человечий. Видишь ли, коль мучительным и бедственным ересей, раздоров, суеверий, многоверий и разноверий потопом волнуется, обуревается, потопляется!»

Но почему все-таки — при столь недвусмысленном личном отношении Сковороды к современным ему религиозным оппозициям — имя его делается спустя десятилетия популярным в некоторых из них?

Думается, единственное объяснение состоит в следующем. Перед всяким сектантским движении рано или поздно возникает — и весьма остро — проблема единомышленников. Автор сочинений, в которых многие догматические вопросы осмысляются достаточно свободно, герой легенд и анекдотов, то и дело говорящий «дерзости» духовным начальникам, — такой Сковорода вполне мог подойти в качество единомышленника и, как мы видели, подошел, хотя его религиозный критицизм носил принципиально иной характер, чем у «канонизировавших» его имя сектантов.

Разница — и надо подчеркнуть, принципиальная разница — состояла в том, что Сковорода — критик религиозного формализма — все-таки никогда не доводил своих отношений с ортодоксальной церковью до прямого разрыва в делал это вполне сознательно, а не в силу каких-либо внешних причин, не позволявших ему решиться на подобный разрыв.

И тут нам нужно будет присмотреться к одной знаменательной черте в его облике — черте, так часто уже попадавшей в поле зрения. Речь идет о пресловутой чудаковатости Сковороды, о его склонности к поступкам и действиям, выходящим за рамки житейских норм. Саму по себе эту черту разглядеть в нем совсем не трудно, гораздо сложней дать ей верное истолкование. Ведь с «чудака», как мы теперь понимаем это слово и обозначаемый им тип поведения, спрос невелик. С «чудака» многое списывается. «Чудак» рассчитывает на

снисходительность, на то, что при всей необычности своих слов и поступков он во мнении окружающих остается в общем-то милым и вполне приемлемым человеком. Его роль в конце концов делается некоторой услугой обществу, скучающему без «чудаков», без их легкой, изящной и вполне респектабельной клоунады. Он — партнер в игре, условия которой хорошо известны как одной, так и другой стороне. И вот «чудак» превращается в оригинала, в своего рода общественного затейника, от которого ждут новых, никому не обидных трюков.

Бытовые и литературные склонности неуживчивого Сковороды — совсем иного рода, чем приспособительное, «себе на уме», поведение типичного «чудака» профессионала. Сковорода мог поступать и говорить странно и даже «дико» вовсе не в расчете, так сказать, на публику, а в силу того, что гаков был органически свойственный ему тип общественного поведения. В одном месте своих «Записок» И. Срезневский говорит: «Сковорода заслуживал часто имя чудака, если даже и не юродивого». Весьма показательна тут оговорка «если даже и не». Автор будто несколько постеснялся того, что Сковороде может быть накрепко приписана склонность к юродству, столь несерьезная с точки зрения просвещенного интеллигента XIX века.

Между тем странности Сковороды действительно отчасти носили в себе черты юродства, и только такое понимание даст нам возможность увидеть истинный характер его отношения к ортодоксальной церкви.

Юрод, юродивый, блаженный — с этими словами в XVIII веке еще прочно связывались представления о свободном и нелицеприятном, попирающем житейские нормы, «внушенном свыше» поведении человека на миру. В этом смысле юродство рассматривалось как особое дарование.

Юрод — вечный ребенок, и, как всякий ребенок, он то и дело задает «взрослым» совершенпо непредвиденные вопросы или дает им самые нелицеприятные оценки. На юрода невозможно смотреть с той снисходительностью, с какой смотрят на чудака. От юрода ждут не чудачеств, а самого настоящего — и ипогда грозного — чуда — словесного откровения о вещах и событиях пока темных. В самом его облике есть нечто чудесное: он «не в своем уме», и в то же время…….носитель и передатчик истины.

Немудрое мира посрамляет мудрых, и юродством пристыжается разум разумных — таково традиционное условие (можно вспомнить хотя бы пушкинского «Бориса Годунова»), обеспечивающее юроду и юродству вполне заслуженное и почетное место в общественном сознании целой исторической эпохи.

Навещая своих острогожских и воронежских друзей, Сковорода наверняка слышал от них о происшествии, имевшем место в одном из окрестных монастырей. В этом монастыре находился на покое воронежский преосвященный Тихон, монах, уже тогда широко известный добродетельным образом жизни, книжным многознанием, даром нравоучения. Однажды, когда Тихон сидел на крыльцо своей кельи, на монастырском дворе появился юродивый, окруженный детьми. Увидев монаха, юродивый вдруг подбежал к нему и, ударив по щеке, сказал на ухо: «Не высокоумь!» Тихон, рассказывали, настолько был поражен прозорливостью неожиданного обличителя (он как раз в эти минуты боролся с «помыслом гордыни»), что уже до самой своей смерти не оставлял юродивого вниманием и даже установил обычай — каждый день выдавать ему деньги на еду.

Конечно, Сковороду мы никогда не увидим в такой вот «острой» ситуации, хотя свойственная его характеру нелицеприятная прямота выражения иногда — что и говорить — оказывалась вполне равноценна пощечине! Не случайно ведь, что и в народных представлениях о странствующем мудреце впоследствии закрепились прежде всего черты с «юродским» звучанием: вспомним хотя бы фольклорное обыгрывание «юродской» фамилии философа (черная сковорода, выпекающая белые блины) или анекдот о его оскорбительной невнимательности по отношению к упавшей на землю царице.

Наконец, при воссоздании той специфической позиции, которую мы условно наименовали «мыслитель у церковных стен», нельзя обойти вниманием еще одну и, может быть, наиболее традиционную в духовном облике Сковороды черту. Речь идет о так называемом «нестяжательстве» — идеологическом свойстве, роднящем образ его мыслей со взглядами русских «нестяжателей» XV–XVI веков.

«Нестяжательство», как известно, развилось и теоретически оформилось внутри русской церкви — на том этапе отечественной истории, который представлен в ее культуре именами Нила Сорского, Вассиана Патрикеева, Максима Грека.

Иногда кажется, что события наслаиваются в истории одно за другим без особой заботы о внутренней последовательности в стройности. Но рано или поздно обнаруживают себя подспудные силовые линии, придающие смысл причудливым историческим напластованиям.

В XVIII веке в территориальной близости от Григория Сковороды жил и плодотворно работал такой по своему выдающийся человек, как Паисий Величковский. Конечно, это случайное совпадение, но все-таки факт, достойный упоминания:

Величковский родился и умер в один и тот же год, что и Сковорода. Происходя из Малороссии, он тоже учился в Киевской академии, тоже в течение многих лет вел материально не обеспеченный но внешне неустроенный образ жизни, тоже путешествовал за границу — правда, по иному маршруту. Паисий надолго поселился среди отшельников Афона, где вокруг него сплотилась очень большая по тем временам дружина переводчиков. Вторую половину жизни Величковский провел в Молдавии и Румынии, работая вместе со своими последователями над переводом с греческого на славянский громадного свода подвижнической этики — «Добротолюбия», того самого «Добротолюбия», с отрывками из которого русского читателя впервые познакомил на рубеже XV–XVI веков «нестяжатель» Нил Сорский, духовный вождь «заволжских старцев».

«Нестяжатели» с их идеалом самоуглубленного «умного делания», с их резко оппозиционным отношением к экономическим и политическим вожделениям церковных иерархов, наконец, с их критикой формальной обрядовости, как теперь очевидно, отчетливо перекликаются через века и с простонародным идеалистом Сковородой, и с его «тихим» одногодком Паисием Величковским.

Паисий жил и умер незаметно. И территориально, и идеологически он пребывал на периферии русской религиозной действительности своей эпохи. Но в XIX веке его прямые последователи заявили о себе из стен Оптиной пустыни, куда приезжали для бесед со старцами Иван Киреевский, Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, Лов Толстой.

Человеком периферии, хотя несколько более заметным в силу своей «светскости», был в XVIII столетии и Григорий Сковорода. История внесла коррективы и в его посмертную судьбу. «Нестяжательские» укоризны автора «Брани архистратига Михаила со сатаною» сегодня свидетельствуют о Сковороде как об одном из наиболее духовно чутких и совестливых представителей своей эпохи. Эта его чуткость тем более достойна быть отмеченной, что нет Никаких оснований говорить о прямом воздействии идеологии древнерусских «нестяжателей» на его сочинения. Он вряд ли знал о деятельности своих духовных предшественников, а если и был отчасти наслышан о них, то эти сведения, конечно, не из первоисточников, которые в XVIII веке еще терпеливо ждали своего будущего читателя в старых рукописных сборниках, под сводами отдаленных обителей, в мало кем из ценителей старины навещаемых книгохранилищах.

МЫСЛИТЕЛЬ

«Везде видеть двое…»

Очень часто, когда мы произносим слово «философ», в нашем представлении возникает образ некоего «окончательного» мудреца, окончательного в том смысле, что он, раз и навсегда определив и выработан свое отношение к миру, одарил человечество философским монолитом, завершенной статуарной конструкцией мира.

Но философ ведь не мраморной породы, он тоже живой и слабый человек, он, как и все, способен удивляться тому, как быстро меняется мир: действительность движется, оборачивается неожиданными сторонами, а слова остаются в основном те же, и их иногда под рукой слишком мало, чтобы можно было успешно выразить все разнообразие перемен и втиснуть пестроту мимоидущей жизни в словесные формулы, по возможности более краткие, емкие и выразительные.

Тут можно вспомнить древнего философа Зенона Элейского, знаменитого своим парадоксальным утверждением о том, что в мире нет движения, потому что всякая движущаяся вещь — например, стрела — в определенный миг находится в одной единственной точке пространства, и, следовательно, движение есть лишь сумма точек покоя. Если бы движение и вправду не приносило ничего нового в мир, задача философа была бы куда проще: статуарный мир очень удобен для того, чтобы изобразить его неподвижными же словами, изобразить окончательно и полно. Чем же заметнее мир движется, тем хлопотнее с ним философу: надо все время менять слова, подыскивать новые, более точные, то есть в чем-то невольно противоречить самому себе, вчерашнему и позавчерашнему. А это ведь очень опасно. Мыслитель, который часто противоречит самому себе, может быстро потерять доверие у тех, к кому он обращается.

От него все ждут окончательных истин, и в интеллектуальном обиходе Европы долгое время господствовало негласное правило: у всякого, кто претендует на звание философа, должна быть своя оригинальная и неуязвимая система, своя модель мира.

Во второй половине прошлого века, когда сразу многие отечественные ученые и литераторы занялись вплотную рассмотрением творческого наследия Григория Саввича Сковороды, традиционный вопрос «А где тут система?» возник незамедлительно. Прямым ответом на него явилась одна из журнальных статей, которая недвусмысленно была названа «Философ без системы». В статье этой, вполне в духе времени,

сочинения Сковороды разбирались с точки зрения наличия или отсутствия в них четкой философской конструкции, самодовлеющей модели мира. А поскольку таковая не вполне проглядывалась, то и следовал неутешительный для памяти мыслителя вывод о его недостаточной философской состоятельности.

Что же, у Сковороды действительно не было «системы» в том смысле, как трактовалось это понятие в общепринятой философской традиции. В его сочинениях почти отсутствует специальная философская терминология, в них нет и следа последовательного логического конструирования идей. Его диалоги — непричесанные куски его же собственной жизни, стенограмма затяжных сбивчивых бесед с приятелями, где нет ни сюжета, ни плана, ни абстрагирующих выводов. Ну как тут не обидеться за «настоящих» философов и не воскликнуть, подобно тому как в свое время досадливо воскликнул Андрей Белый: «Что Кант! Философ отличнейший Сковорода!»

Впрочем, обижаться не имеет смысла ни за Канта, ни за Сковороду. Есть разные уровни мышления и разные способы их реализации в жизни.

Мудрость — не специальность, это одна из форм проявления истины. А потому она может обитать не только в разных уровнях и категориях мышления, но и в территориально различных сферах — от особняка философа-профессионала до шалаша пасечника. Мудрость никому персонально не приписана. Она может навещать одного, другого, третьего. Она избирает себе дом — живую храмину — человека, в «системе» она может и не ночевать.

Интересная деталь: Сковорода при жизни не только никогда не именовал свои сочинения «системой», но и философом себя почему-то нигде и никогда не называл. Вот как чаще всего подписывает он свои диалоги, письма: «старец», «старчик», «пустынник», «любитель священный Библии»… Будучи уже пятидесяти четырех лет от роду и давным давно расставшись со студенческой скамьей, он в сопроводительном письмо к трактату «Икона Алкивиадская» именует себя «студент Григорий Сковорода». Предисловие к переводу работы Плутарха «О спокойствии души» подписано: «Любитель и сын мира».

Едва ли не единственная само-характеристика, в которой Сковорода каким-то образом сопричисляет себя к философам, исполнена гротескной иронии: подпись под одним из писем к Михаилу Коваленскому звучит в переводе с латинского: «Осел среди софистов Григорий».

Что мог означать, однако, этот последовательный отказ от

звания философа?

Как известно, для соотечественников Сковороды понятие «философ» отчасти еще содержало оттенок, связывавший его исключительно с языческим любомудрием античности. Философ в этом смысле есть антагонист богослова. Такое противопоставление в разные эпохи становилось то более, то менее резким и принципиальным. Можно вспомнить. Иоанна Дамаскина, видного церковного автора VIII века, который совершенно свободно пользовался понятием «философия» как синонимом богословия. По на почве древнерусской книжности значение слова «философ» вплоть до XVIII века все-таки сохраняло по преимуществу смысл несовершенного человеческого мудрствования, «мудрования», склонного к капризному своеволию в оценках бытия, его сущности, состава и проявлений. И если древнерусский автор по тем или иным причинам упоминал в положительном смысле или даже цитировал языческих авторов, то он непременно подчеркивал, что упоминает или цитирует «мудрого в философех» автора, давая тем самым понять читателю, что далеко не всем древним философам истинная мудрость была присуща.

Конечно, Сковороде был известен не только этот архаический смысл понятия «философ», но и его новое звучание в западноевропейском обиходе. Ситуация, однако, была такова, что в России еще никто не именовал себя философом. Вот и он, первым имевший право так себя назвать, ограничился самоуничижительным — хотя и не без иронии — жестом: «Осел среди софистов».

И все-таки творческое наследие Григория Сковороды ни субъективно, ни объективно не может быть оценено как своего рода нефилософия или же философия «без системы».

Всякое философское учение (а учение Сковороды, несмотря на нейтральность самооценок, есть именно философское), если даже оно и не носит на себе внешних признаков систематической упорядоченности, отличается внутренним структурным единством.

Учение может воплотиться в жанре диалектического словесного состязания- диалога или поэмы, в жанре лирической исповеди или трактата, оперирующего понятийно-логическим, а не образным материалом, — как бы ни было, но в любом случае оно остается учением, то есть материалом, открытым для того, чтобы извлечь из него основные структурообразующие идеи, темы, мотивы, интуиции автора.

Естественно, что подобное извлечение является сознательной схематизацией материала, по отношению к которому оно

предпринимается. Но ведь структурный разбор вовсе и не претендует на роль картины, адекватной первоисточнику, его задача — анализ.

Учение Григория Сковороды представляется для такого разбора материалом в высшей степени благодарным: любимые идеи, темы, мотивы и образы мыслителя неоднократно повторяются в его сочинениях, он то и дело возвращается к ним, как бы подчеркивая, выделяя курсивом, обогащая их новыми оттенками содержания.

Каковы наиболее общие представления мыслителя о реальности? Формулируя их, он исходит из следующей идеи: существуют три «мира» или три уровня, три состава бытия: макрокосм, или вселенная, «где все рожденное обитает», микрокосм, или человек, — малый мир, «мирок» и, наконец, третья реальность, «символическая», связующая между собой воедино большой и малый миры, идеально их в себе отражающая. Наиболее совершенным образом этой реальности, согласно его учению, является Библия. Но этим троичным составом еще не исчерпывается структура действительности, ибо каждый из трех названных миров по своему строению двуприроден, «состоит из двух натур: одна — видимая, другая — невидимая». Универсальный принцип двойственности обнаруживается на самых разных уровнях бытия, и «нужно везде видеть двое»: во всем есть «материа» и есть «форма», есть временное и вечное, телесное и духовное, внешнее и внутреннее, ложное и истинное, тварное и творческое, земное и небесное, плоть и мысль. Эти два начала, два естества, различимые в каждом факте, в каждой данности бытия, не только полярно противостоят, но и взаимодействуют друг с другом, не только взаимо-отталкиваются, но и неотделимы друг от друга, — и так в любом из трех мирон.

Выделение в каждом предмете, в каждом явлении двух образующих его структуру начал есть излюбленный прием мыслителя, его постоянный рабочий принцип, а в более широком значении — основа его философского метода. Метод, который состоит в обнаружении полярных противостояний, в описании противоборства и взаимодействия противостоящих начал-антитез, может быть определен как антитетический метод. Именно этот метод — антитетический — является основным движителем мысли Сковороды: «везде видеть двое» — индивидуальное свойство его философского зрения.

Рабочий метод Сковороды отличает и еще одно качество, чрезвычайно интенсивное, сразу же бросающееся в глаза: мысль философа постоянно тяготеет к тому, чтобы воплощаться но на уровне понятий и логических формул, а в видо образов,

поэтических аллегорий, символических обобщений, эмблематических знаков. Этот «язык особливый», как характеризует его сам автор, — не только ярчайшая внешняя примета писательского стиля, но и коренное, принципиальное свойство философского метода Сковороды, который, следовательно, можно назвать не только антитетическим, по и символическим.

Антитетичность и символическая окраска мысли философа свидетельствуют о себе в каждой из основных идей и тематических линий его учения, к анализу которых мы теперь приступим.

«Внемли себе»

В своде сохранившихся до нашего времени древнегреческих мифов одним из самых популярных, безусловно, является миф о юноше Нарциссе. С тех пор как этот сюжет получил литературную обработку в «Метаморфозах» Овидия, имя Нарцисса сделалось нарицательным. В образе юноши, самоупоенно приникшего к водному зеркалу, видели символ крайнего индивидуализма, гордого и болезненного отрыва от действительности.

В 1767 году лесной отшельник Григорий Сковорода написал, что в образе Наркисса (он слегка уточнил звучание мифического имени) можно и нужно видеть еще один смысл, и этот смысл значительно серьезнее, чем традиционный. Ведь юноша не просто смотрит на свое отражение. В трепетном и сокровенном акте всматривания заявляют о себе самые важные свойства человека, самые высокие его чаяния. Он хочет увидеть, узнать и познать самого себя — не просто телесную свою оболочку.

Если бы у мыслителей были свои гербы, то на гербе Григория Сковороды по справедливости следовало бы начертать девиз «Познай себя!». Этим девизом открывается его учение о человеке и о мире; здесь — главное дело и слово его жизни, альфа и омега его мысли. «Внемли себе крепце!», «Узнай себе!», «Возвратися в дом твой!», «Раздерите сердца ваша!», «Посреди вас стоит, его же не знаете!», «Себе знающие премудры суть.,» Девиз мог звучать по-разному, но смысл постоянно один и тот же: человеку нужно познать себя.

Акт самопознания не есть некоторая насильственная самоизоляция от мира. Подчеркнутое внимание Сковороды к человеку зиждется на убеждении, что только в акте самопознания человек обнаруживает свое истинное место и предназначение в мире и, таким образом, раскрывает для себя целесообразность и истинное содержание мироустройства. Большой мир — макрокосм — может быть понят в принят только через человека, через микрокосм, «малость» которого по отношению к макрокосму снимается в процессе самопознания. Снимается потому, что этот процесс обнаруживает центральное место «истинного человека» в материальном мире. «Великое» посрамлено «малым», которое открывается как безграничное поле духовных возможностей. «Что может обширнее разлиться, как мысли? О сердце!.. Все объемлешь и содержишь, а тебя ничто не вмещает».

Большой мир чужд и враждебен человеку лишь постольку, поскольку человек остается чужд и неясен самому себе. В

благодатном даре самопознания разрушается антагонизм макро и микрокосма, обнаруживается их соизмеримость, взаимное достоинство и космическая родственность. «Я верю и знаю, — пишет Сковорода, — что все то, что существует в великом мире, существует и в малом, и что возможно в малом мире, то возможно и в великом…»

Если человек, познающий себя, становится преображенным микрокосмом, то существо, которое уклоняется от этого истинного призвания, являет собою дочеловеческий. хаос, смесь противоречивых свойств, наклонностей, устремлений. Вот его гротескный портрет: «… красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цытериа; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот… ласков, как крокодыл; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; разсыпчив, как прах; ищезает, как сон… Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон».

Это, как видим, очень «театральный», очень «маскарадный» портрет, своего рода каталог личин и масок, которые надевает на себя человек, вольно или невольно лицедействуя на «театре света». Его индивидуальная особенность оказывается погребенной под ворохом чужеродных наклонностей, привычек, жестов, поз.

Каковым себя ощущает человек, то есть малый мир, таковым же представляется ему и мир великий. Смятенной душе «гнусны кажутся соседы, невкусны забавы, постылые разговоры, неприятны горничныя стены, немилы все домашние… хулит народ свой и своея стороны обычаи, порочит натуру, ропщет на бога и сама на себе гневается. Тое одно сладкое, что невозможное… завидное, что отдаленное. Там только хорошо, где ея, и тогда, когда ея нет. Больному всякая пища горка, услуга противна, а постель Жестка. Жить не может а умреть не хочет».

Но почему же так запутался человек в выяснении отношений между желаемым и действительным? Какие внутренние обстоятельства осложняют задачу самоустроения человека в мире? Отчасти задача осложнена тем, что человек слишком расточительно и капризно пользуется своими познавательными возможностями. Есть Наркисс мудрый, но остается и Наркисс буйный, «буий», который разумеет только наружную оболочку вещей. Есть опьянение внешним познанием, соблазнительная и иллюзорная возможность получить совершенное представление о большом мире до того, как познан мир малый. «Скажи, пожалуй, — иронизирует Сковорода по поводу подобного положения вещей, — естли бы житель изгородов, населенных в Луне, к нам на наш шар земной пришол, не удивился бы нашей премудрости, видя, что небесныя знаки толь искусно понимаем, и

в то же время вне себя стал бы наш лунатик, когда б узнал, что мы в экономии крошечного мира нашего… ничего не примечаем и не радим удивителнейшей всех систем системе нашего телышка».

В этой фантастической сценке, написанной задолго до многочисленных «лунных» романов, гораздо больше грусти, чем юмора. Называя человеческое «телышко» системою систем, Сковорода, конечно, имеет в виду не анатомо-физиологическую, так сказать, сторону объекта. Ведь если человека изучать только с этой стороны, то в результате получится все тот же буйный и поверхностный нарциссизм, упорное нежелание «войти в дом свой». Нет, здесь, как и везде, он ведет речь о духовных пространствах и измерениях человека. Принцип «познания себя» насыщен для мыслителя значением, весьма отличающимся от того, какое закрепилось за ним в более поздние времена. Если, например, в научной практике конца прошлого века задача самопознания сводилась лишь к самонаблюдению, то есть к одной из функций описательной психологии (человек стремится как можно полнее выявить механизмы и закономерности своего психологического «я»), то для Сковороды «познание себя» — акт не столько пассивно-исследовательский, описательный, сколько волевой, творческий, направленный на обнаружение и утверждение в каждом человеке его нравственного ядра, «вечного сердца».

В диалоге «Асхань» (так же как и «Наркисс», он по-сит подзаголовок «о познании себя») есть выразительное описание этого целенаправленного творческого делания: «Ищи, стучи в двери, мети хорошенько дом. Рый в нем. Перебирай все. Выведывай закаулки. Выщупывай все потайники, испытывай, прислушивайся — сие-то есть премудрейшее и вселюбезнейшее любопытство и сладчайшее. Сия-то наука глубочайшая и новейшая. Новая затем, что нигде ея не обучаются. А предревняя потому, что самонужнейшая. Где ты видел, или читал, или слышал о щастливце каком, который бы не внутрь себе носил свое сокровище? Нельзя вне себе сыскать. Истинное щастие внутру нас есть. Непрестанно думай, чтоб узнать себе».

Итак, самопознание не единичный акт, но длительный процесс. Самое же начало этого процесса знаменуется, по мысли Сковороды, ясным осознанием природы человека. Здесь и вступает в действие его антитетический метод: в микрокосме, в человеке, есть две природы: внутренняя и внешняя. Одна природа характеризуется как незримая, духовная, истинная, вечная; другая — представлена в качестве осязаемой, наружной, тварной, она аще «бренное линовище», «телышко».

Снисходительно и ласкательно именуя людскую плоть «тельником», Сковорода никогда, однако, не доводит этого своего снисходительного отношения до мизантропических выпадов в адрес «телышка» — своего ли, человеческого ли вообще. Для него лишь принципиально важно знать о том, что есть хозяин в человеке — внутренняя или внешняя природа: или «телышко» помыкает душой, или она умно и строго путеводительствует «перстному» человеку. Тот, в ком внутренняя природа утеснена своеволием внешней, — тот лишь жалкая видимость человека, нечто уродливо одностороннее, кажущееся. «Ты соние истинного твоего человека».

Каждодневность обнаруживает, что в конкретном человеке есть главное — внутреннее или внешнее начало. Но принципиально главным в нем должно быть всегда одно и то же. «Не внешняя наша плоть, но наша мысль то главный наш человек. В ней-то мы состоим. А она есть нами».

Размежевание человека по границе души и «телышка» — лишь первое слово в антропологическом учении Сковороды. Ведь сама по себе душа вовсе не есть абсолютный полюс блага. В этом «теле духовном» при ближайшем рассмотрении обнаруживаются свои противоборства, своя двуполярность. Человек пребывает плотью в одном определенном месте, а душа, его непрестанно кочует в иных пространствах и временах, завидуя тому, что было, или тому, чего еще не было, не удовлетворенная тем, что есть сейчас. Вольная странница, вечно недовольная душа — с этим образом связано представление Сковороды о «воле» как об очередном факте человеческой природы, который открывается в процессе самопознания.

«Воля» в лексиконе мыслителя — слово чрезвычайно емкое, значительное и в определенном смысле совершенно противоположное нашим современным представлениям о воле («волевой человек», «сила воли»), как о силе, упорядочивающей и регламентирующей частное поведение человека. «Воля» у Сковороды — это изначально присущая человеческой душе свобода самопроявления и самоопределения в мире. Душа в мире не рабыня, но свободная, однако умеет ли она пользоваться своей свободой, этим щедрым дарованием? В том-то и беда, что сплошь да рядом не умеет, и воля то и дело оборачивается своеволием, свобода — своевластием. Человек, как ни парадоксально, на каждом почти шагу делается рабом своей капризной и ненасытимой воли.

Эта вот свобода, чреватая узами, и воля, растрачивающая себя на вольничание, и ость, по понятиям Сковороды, не только источник душевного нестроения частного человека, но и

возможность для укоренения зла на земле. Ибо в мире вообще нет ничего злого по устройству своему и предназначению, и только воля людской души, пускаясь в своевольство, непрестанно плодит и плодит зло. «Вот, например, — шутливо замечает по этому поводу философ, — наложил кто на голову сапог, а на йоги шапку. Безпорядок зол подлинно, но чтоб шапка или сапоги жизни человеческой неполезны были, кто скажет?»

Сапог, наложенный на голову, — лишь курьезный и в общем-то безобидный пример того, как никчемно может распорядиться человек своей волей. Есть примеры, чреватые и куда более опасными последствиями; и по их поводу мыслитель уже без тени улыбки, а скорее с отчаянием восклицает: «Воля наша — пещь нам ада… Воля! О несытый ад! всё тебе ядь, всем ты яд. День, нощ челюстьми зеваешь, всех без взгляда поглощаешь…»

Здесь воля понимается уже не как бытовой каприз, не как частный эпизод, а как явление бытийного масштаба, грозящее людскому сообществу.

В истории новоевропейской философии разработка категории воли, как известно, связана с именем немецкого философа XIX века Шопенгауэра, развившего учение о так называемой «мировой воле». В пессимистической концепции Шопенгауэра воля рассматривается как безразличная к судьбе частного человека космическая субстанция, выйти изпод пригнетающего влияния которой он может лишь при условии полного отказа от своей собственной воли — в акте пассивного аскетического самоустранения из жизненного миража. Если в таком понимании для человека и остается возможность свободы, то это лишь свобода ухода, свобода отказа от жизни. «Мировая воля», в шопенгауэровском построении, ничем принципиально не отличается от частной ноли человека, это в конечном итоге по природе своей одна воля, и в ее тяжелой тени пребывает угнетенная тварь.

Для Сковороды воля, по природе ее, — неиссякаемое благо, но в человеке эта природа может раздвоиться, и тогда, действительно, воля становится чем-то страшно опасным, чудовищным, адским. В частный момент воля к злу может оказаться у человека сильнее воли к благу, но это лишь кажущаяся победа; изначальный свет воли-свободы, как бы ни был ои искажен человеческим самохотением, вновь может засветить в полную силу.

Но для этого необходимо творческое напряжение, усилие самопознания:

Глянь, пожалуй, внутрь тебе: сыщеш друга внутрь себе,

Сыщеш там вторую волю,
Сыщеш в злой блаженну долю:
В тюрме твоей там свет, и грили твоей там цвет.

У каждого мыслителя есть свои корневые слова, они свидетельствуют о себе не столько частотой, сколько интимностью употреблении. Немало таких слов было и у Григория Сковороды, и самое из них значительное — «сердце». Это слово настолько интенсивно и звучно в мире его идей, настолько богато оттенками смысла и эмоциональной энергией, что оно задает тон и ритм всему философскому созиданию Сковороды. Оно то и дело «выпирает», то и дело колышет ткань его мысли. Сковорода все делает громко, вслух пророчествует, радуется, иронизирует, горюет, смеется, досадует, восхищается, приходит в замешательство и в восторг, недоумевает, подтрунивает, бранится и признается в любви. Перед нами стиль откровенного разговора, а не запись последовательности отшлифованных и трезво взвешенных сентенций. И потому, к примеру, междометий тут гораздо больше, чем силлогизмов, и часто какое-нибудь незамысловатое «ейей!», или «ба!», или даже «тфу!» исполняет в горячем споре роль вполне уместного аргумента.

Но экстатичность сковородинской речи вовсе не самодельна, она есть, пожалуй, единственно возможное и естественное для автора формо-выражение «сердечной» темы.

Эта тема у Сковороды неразрывно связана с темой самопознания, является ее продолжением, развитием, углублением: познавая себя, человек в первую очередь познает свое сердце. «Не по лицу судите, но по сердцу». «Глава в человеке всему — сердце человеческое. Оно-то есть самый точный в человеке человек, а протчее все околица…»

Сковорода в данном случае называет сердце «главой» в двояком значении: не только в метафорическом, но и в телесно-конкретном, и, чтобы понять все своеобразие такого словоупотребления, нам необходимо еще раз восстановить в памяти дистанцию, отделяющую нас от эпохи, когда он жил и писал. В сочинениях Сковороды продолжает свое существование чрезвычайно древняя, основанная на тысячелетнем опыте самонаблюдения убежденность, согласно которой именно «сердце», а не «голова» считается истинным средоточием и источником духовной жизни человека, регулятором всех его волевых актов и очагом стихийных порывов. Сердце — гнездилище мысли, считает Сковорода, «сердце всегда при своих

мыслях, как источник при своем токе».

Конечно, с точки зрения современной физиологии, такое убеждение выглядит вполне беззащитным в допустимо, должно быть, лишь в качестве поэтической вольности. Но мы можем прочувствовать, пережить, а значит, и принять «сердечную мысль», «философию сердца» Сковороды; человеку хочется думать, что сердце в нем — главное, что оно — истинное солнце в его телесном составе, а не равнодушный механизм наподобие желудка или почек. Желудок не может болеть за другого человека, и почки не могут радоваться за другого человека, а сердце радуется и болеет за другого человека. Оно рвется, порывается, томится, обливается кровью, ожесточается и умягчается, колотится, стучится, кричит, замирает; оно бывает глупым и умным. Да будь тысячу раз права физиология, но как можно все это отнять у сердца?! Нет уж, скажем и мы вослед Сковороде: «Сердце же человеку есть корень, солнце, царь и глава».

«Видеть во всем двое» — этому принципу мыслитель не изменил и обращаясь к теме сердца. Если есть «перстный», «наружный» человек, то есть и «внутренний), «истинный»; если имеет место злая воля, то есть и воля благая. Сердце как вместилище человеческого воления, двух его воль, следовательно, также подвержено расчленению и может пребывать в этом тяжелом недуге до тех пор, пока не «зародится и сокрушенном сердце сердце вечное».

Такова «топография» микрокосма, последовательно раскрывающаяся в акте самопознания; так, пользуясь антитетическим методом, философ шаг за шагом продвигается к глубинам человеческого существования; возникает своеобразная цепочка символических значений: человек — душа — поля — сердце, которое, повторим, и есть «самый точный в человеке человек». Здесь для мыслителя некий узел образов, замкнутый круг символов, центр которого — «сердце». Познать себя — значит развязать этот узел, определить сердцевинную суть своей природы, а тем самым и суть всего природного космоса, сердцевину миротворения. Это вызов и подвиг. «Раздерите сердца ваша!»

«Закон сродностей»

Из биографических глав мы уже могли составить себе представление о том, какова была лично для Сковороды практика самопознания: ведь она недвусмысленно обнаруживает себя едва ли не в каждом его жизненном действовали!! слове, жесте. Кажется, трудно и представить себе более наглядную в своей цельности судьбу: вся она состоит из уходов, отказов, бегств. Сковорода то и дело уходит от кого-нибудь или от чего-нибудь. Уходит от неприятных ему ситуаций, положений, условий. Уходит, то извиняясь, благодаря и застенчиво раскланиваясь, то клокоча от возмущения, негодуя: «Не мое, не для меня, не по мне!» — вот едва ли не характернейший его жест. Он постоянно оказывается в ситуации выбора и постоянно — сознательно или неосознанно — избирает одно и то же.

И каждый из таких уходов и отказов делался для не го очередным актом самоопределения, подтверждением правильности предыдущих исходных поступков, тем драгоценным личным опытом, который, как мы помним, оп в несколько шутливой форме изложил, беседуя с харьковским губернатором: «Я сию ролю выбрал, взял а доволен».

Ему навязывались ситуации, которые не отвечали его природе, предлагались одежды, в которых он чувствовал себя скованно. Он желал быть самим собой.

Была в этом его опыте еще одна чрезвычайно существенная сторона, почерпнутая уже не из наблюдений за собственной природой и свойствами окружающих его людей.

Достаточно было ему шагнуть за обочину степной дороги и присмотреться к пестроте разнотравья; или лечь в траву и поглядеть немного на безымянное сборище насекомых; или войти в лес и подетски, будто впервые, удивиться разнообразию деревьев, листвы, мхов; или прислушаться к лесным мелодиям… Иногда и у взрослого человека возникает потребность задавать себе наивные, «детские» вопросы. Зачем и почему, однако, все так разнообразно и непохоже друг на друга в природе, и какой же заключен тут для человека тайный урок, какое начертано назидание? Ведь, кажется, куда бы было проще, если бы природа несколько подсократила число своих составных и вообще несколько подравняла свои формы в сторону наглядной справедливости: так, чтобы все камин сияли, будто алмаз, все звери были сильны, как лев, и все деревья долголетни, как кедр ливанский. При нынешнем же положении вещей звезда весьма разнится от другой звезды в сиянии и известности, а крошечной

рыбке воды требуется неизмеримо больше, чем громадному слону.

Но вот ведь, каждое существо рождалось и продолжает рождаться со своим неповторимым букетом качеств и свойств, со своей особой целью. И в этом его правота, его правда.

Гармоническое равновесие природы может зиждиться лишь на согласованном сосуществовании необозримого в своем разнообразии множества несхожих пород, или, как говорили во времена Сковороды, «чинов естества». Из этого-то принципа бытийного равновесия вещей, предметов, существ и исходил мыслитель, свидетельствуя о существовании универсального «закона сродностей». Проявляясь на всех уровнях миротворения и, может быть, нагляднее всего на его низших, простейших уровнях, этот закон распространен и на людскую общность. Своя, говорит Сковорода, «сродность» или своя, как он еще говорит, «стать» есть у каждого человека. Она может заявить о себе уже в детском возрасте, в любимых играх и занятиях ребенка, она громко говорит о себе в поступках в склонностях взрослого человека. «Мать блаженная натура» никого не обидела, никого не обделила сродностию. В ее щедром раздаянии всем и каждому нет и намека на равнодушно механическое распределение «лучших» и «худших» ролей. Присущая человеку сродность, стать есть то поприще, на котором он с наибольшим благом для себя и для всех способен выявить свою жизненную потенцию. Сродное человеку дело есть и самое легкое для него, потому что в нем он наиболее удачлив, ус пошлин, значителен, продуктивен.

Но сродность не просто задана человеку, она ему вручена как необработанный алмаз, который нуждается в отшлифовке; и потому она одновременно и данность и результат — итог умного, творческого человеческого делания. Следовательно, она может остаться в человеке и непроявленной, затемненной. Но и тогда она будет ему давать знать о себе — в чувстве неудовлетворенности, неустроенности.

Заявленная ужо в «Наркиссе» и «Асхани», детально затем обыгранная на «зверином» материале «Басен Харьковских», тема сродности с наибольшей полнотой развернута в диалоге «Алфавит, или букварь мира», который относится к образцовым работам мыслителя и является своего рода сводом, содержащим не только онтологическое, гносеологическое и антропологическое учение Сковороды, по и его практическую философию, социальные воззрения. Одна из глав диалога, названная автором «Приметы некиих сродностей», представляет собой подробную оценку самых разных типов человеческой деятельности — здесь рассматриваются «сродность к хлебопашеству», «сродность к

воинству», склонность к ученым занятиям, торговле, ремеслам, искусству.

Человек, познавший свое сердце, свою природную стать, поистине достоин любования. «Что до мене надлежит, куда мне мил всяк человек в сродности своей! Не могу довольно насладиться позором (то есть зрелищем. — 10. Л.), когда он действует, и его действие, как смирна, издает благовоние. И воином кто рожден, дерзай, вооружайся!.. С природою скоро научишься! Защищай земледельство и купечество от внутренних грабителей и внешних неприятелей. Тут твое щастие и увеселение. Береги звание, как око. Что слаже природному воину, как воинское дело? Закалать обиду, защищать страждущую и безоружную невинность, заступать общества основание — правду — сей есть его пресладкий завтрак, обед и ужин».

Развитое Сковородой учение о человеческих сродностях как о наиболее благоприятных для каждой личности формах ее самовыявления в мире не могло не породить в его творчестве и само собой разумеющегося вопроса о человеческом счастье.

Вводя слово «счастье» в философский оборот, Сковорода, надо сказать, весьма далеко отошел от архаического, узкоутилитарного и законнического осмысленияз того слова как необходимой, жестко обусловленной «участи», зависимой от рокового предначертания, фатума, судьбы.

В его «щастьи» есть нечто лучащееся, теплоносное, безмерно разлитое в мир. Здесь в самом звучании как бы присутствует светлая положительная стихия, роднящаяего с целым кругом других «высоких» слов: «свет, радость, веселие, живот, воскресение, путь, обещание, рай, сладость и пр. — все те означают сей блаженный мир».

«Люди в жизни своей трудятся, мятутся, сокровиществуют, а для чего, то многие и сами не знают… изобретаем разные напитки, кушаньи, закуски дли услаждения вкусу; изыскиваем разные музики, сочиняем тьмуконцертов, минуетов, танцов и контратанцев для увеселения слуху; созыдаем хорошие домы, насаждаем сады, делаем златотканные парчи, материи, вышиваем их разными шелками и взору приятными цветами и обвешуемся оными, дабы сим зделать приятство глазам и телу нежность доставить; составляем благовонные спирты, порошки, помады, духи и оными обоняние доволствуем».

Такою широкою панорамой современной ему «индустрии наслаждений»., (невольно, кстати, напоминающей известное рассуждение Маркса о «евнухе промышленности») начинает Сковорода диалог «Разговор пяти путников о истинном щасти в жизни». В расхожем, то есть «светском», «общем», представлении

о счастье заключено самое разнородное содержание, но прежде всего принцип чистого наслаждения, принцип удовольствия как высшего блага — гедонизм. Этот принцип и обсуждают, и осуждают, и развенчивают участники дружеской беседы. «Разговор» — диалог с ярко выраженной антигедонистической направленностью. «Почему знаеш, что получение твоего желания тебя ощастливит? Справся, сколко тысяч людей оное погубило? До коих пороков не приводит здравиес изобилием? Целыя республики чрез оное пропали. Как-же ты изобилия желаешь, как щастия? Щастие нещастливыми не делает. Не видишь ли и теперь, сколь многих изобилие, как наводнение всемирнаго потопа, пожерло, а души их чрезмерными затеями, как мельничныя камни, сами себя снедая, без зерна крутятся?»

Страстное и ненасытимое вожделение земных благ выступает у Сковороды в качестве универсального мотива человеческой активности, во всех ее формах — от частной до государственной. «Где ты мне сыщеш душу, не напоенную квасом сим? Кто не желает честей, сребра, волостей? Вот тебе источник ропоту, жалоб, печалей, вражд, тяжеб, граблений, татьбы, всех машин, крючков и хитростей. Из сего родника родятся измены, бунты, заговоры, похищения скиптров, падения государств и вся нещастий бездна».

Так охота за счастьем на каждом шагу оборачивается несчастьями и для ищущего, и для окружающих. Болезнь неполноты бытия, осознание жизненной ущемленности (не ото ли теперь повсеместно именуют «комплексом неполноценности»?) гнездится не в каком либо одном человеческом состоянии, но пронизывает со бою все сословное общество снизу доверху.

Но если счастье даже для тех, кто преуспел в жизни, оборачивается, как ни парадоксально, не матерью, а мачехой, то что уж! про остальных говорить? Для них, значит, оно и тем более недостижимо? «Представь себе без численное множество тех, коим никогда не видать изобилия: в образе болных и престарелых приведи на на мять всех нескладным телом рожденных». Но тут-то Сковорода и возражает: «Неужель ты думаешь, что премилосердная и попечительная мать наша натура затворила им двери к щастию, зделавшись для них мачехою?»

И здесь грустные размышления собеседников о не уловимом и обманчивом счастье оборачиваются еще од ним парадоксом: истинного блага искать вовсе не нужно!

«Ищем щастья по сторонам, по векам, по статьям, а оное есть везде и всегда с нами, как рыба в воде, так мы в нем, а оно около нас ищет самих нас. Нет его нигде затем, что есть везде. Оно же преподобное солнечному сиянию: отвори только вход ему в душу

твою. Оно всегда толкает в стену твою, ищет прохода и не сыскивает; а твое сердце темное и невеселое, и тма верху бездны».

Этот парадокс предварен в диалоге простонародной притчей о старике и старухе, которые, поставив себе хату, забыли прорубить в ней окна, а посему решили, что для освещения жилища нужно запасать солнечного света в мешки. Помучившись достаточно за этим занятием, повлеклись уже было к дальним горам искать советователей, да помог мудрый человек, который, естественно, посоветовал прорубить в хате окно. Так вот и счастье, — человек ищет его далеко, а оно рядом ходит и дышит ему в затылок.

Для Сковороды всякий человек рожден «под счастливой звездой», и счастье для каждого — «мати и дом». «Мати и дом» — потому что этот родительский покров и это материнское попечение дарованы всякому человеку, будь он даже сиротой и бездомным бродягой. Ведь поиск счастья и состоит в обнаружении того, что дано ему как родительское благословение в дорогу. Это все тот же поиск своей сродности, своей жизненной стати и почвы, своего истинного лица. «Сие-то есть быть щастливым — узнать, найтить самого себе».

Так мысль Сковороды вновь приходит «на круги своя», в дом свой, к стержневой для него теме самопознания.

Представление Сковороды о счастье как естественном и универсальном законе для всех без исключения совершенно особняком стоит от расхожих обывательских мнений о счастье, как об удаче, выигрыше, лотерейном везении. Подобные мнения, основанные на примитивном противопоставлении социального «верха» и «низа», материального избытка и недостатка, физического совершенства и убожества, всегда, как правило, являются отражением хищнического цинизма, из чьих бы уст они ни исходили. Да, мир иерархичен, но Сковорода решительно выступает против оценочных характеристик его «статей» в ступеней по шкале «верхниз». Для него в мире нет «низких» и «подлых» состояний, и сродность к землепашеству, или к гончарству, или к пастушеству нисколько в своем гармоническом самовыявлении не «ниже», чем общезначимо выявленная склонность к государственному или военному делу, к искусству, к любомудрию. «Подлость» начинается там, где человек в ущерб собственной природе ломится в несвойственную ему «стать».

«Разсуждая свойство чьей природы, могу я сказать, что ты, например, гидлив, жалослив, робок, лекарем или поваром тебе быть неуда……. Но когда я кому говорил, что личебная наука и попаренное мастерство вредное? Многократно я гонаринал, что

тебе пли тому быть священником или монахом не но природе, во чтоб сказал, что священство или монашество стать вредна, никогда сего не было. Кто но натуре своей клонотлив или ретив, тому можно сказать, чтоб быть градоначальником берегся, где безпрестаннии оказии к гневу и здорам. Но могу ли помыслить, чтоб своеволству людскому коммандиры надобны не были? Помилуйте мене! Не толь я подлого родился понятия, чтоб ниспуститись в толикии сумазброды».

Проблема счастья, как очевидно, решается мыслителем прежде всего в морально-этическом плане. Счастье в понимании Сковороды — это то, в чем личный человек расцветает для всех и — через свою непохожесть на остальных — роднится со всеми. Гармония общего обретается, таким образом, благодаря гармоническому самовыявлению человека в мире, а значит, и для мира.

В диалоге «Алфавит мира» Сковорода дает пластически емкий образсимвол совершенного мироустройства, образ идеально сгармонизированного социума, со всем богатством и разнообразием его отдельных «сродностей» и «статей». В автографе диалога словесный образ был проиллюстрирован графическим изображением фонтана, окруженного различной формы, красоты и емкости сосудами.

«Льются из разных трубок, — пишет Сковорода, — разные токи в разные сосуды, вкруг фонтана стоящие. Менший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный». «Над фонтаном надпись сия: «Неравное всем равенство».

Обрисовывая черты совершенного мироустройства, размышляя об идеале общественного самоопределения человека, Сковорода, естественно, не мог не коснуться вопроса об условиях, препятствующих такому идеальному самоопределению. Его оценка этих условий, как правило, не только негативна, но часто отличается резкой мрачностью тона. «Что есть мир?» — спрашивает он и сам же отвечает: «Ад, яд, тля!»

Но в характере подобной критики нужно заметить одну весьма существенную черту. Решительно обличая общественное неустройство, «нестроение», Сковорода, с его пророческим радикализмом, никогда, однако, не преступает той грани, за которой мы могли бы говорить о нем, как о политическом писателе.

Более того, он на первый взгляд может даже показаться несколько невнимательным по отношению к общеизвестным событиям XVIII века: например, он нигде в своих сочинениях не упоминает о Пугачевском восстании или о более близких ему территориально событиях Колиевщины; никак не отзывается по

поводу многочисленных войн, которые при его жизни вело государство у южных и юго-западных границ; не касается и судеб Запорожской Сечи, столь волновавших Малороссию и Украину во второй половине XVIII века.

Ни субъективно, ни объективно Сковорода не может быть отнесен к типу социальных реформаторов, революционеров. Он отрицательно относился к «мятежу» как способу социального переустройства и полагал, что совершенство общества в целом находится в прямой зависимости от степени внутреннего совершенства каждого представителя общества, к какой бы социальной группе он ни относился. Как человек своей эпохи, он не был также знаком с идеей социального прогресса: история не представлялась ему ни движением от худших форм к лучшим, ни, наоборот, от лучших к худшим; поэтому он позволял себе скептически посмеиваться над теми, кто мечтает об устройстве рая на земле, равно как и над теми, кто хотел бы вернуться «в Авраамские века или Сатурновы». Мы не вправе обойти молчанием очевидную неполноту социальной эффективности, свойственную той, условно говоря, «нравственной школе» русской философской мысли, которую в XVIII веке ярче всех представлял Григорий Сковорода. Но мы также не вправе принижать значения морально-этических поисков и открытий философа в кругу «вечных» проблем человеческой личности.

Сковорода всю жизнь занимался археологией человеческого сердца, слой за слоем обнажал «сердечную бездну». Именно тут открывались перед ним схватки, волнения, битвы и мятежи, падения и подвиги человеческой души в ее неимоверно долгом становлении.

Каждая из работ Сковороды содержит, как правило, целый комплекс идей, и потому почти по каждой из них можно в общих чертах представить себе все его учение. Не стремясь создать умозрительную, отвлеченно-логическую систему, он целокупностью своих творений создал единство иного порядка — живой организм прорастающих друг в друга тем, мотивов, символических образов.

Вот почему представляется немалой трудностью дать отличительную характеристику каждой его отдельной работе. Например, тема самопознания центральна не только для «Наркисса» и «Асхани», но и для «Алфавита мира», где она выступает в естествеином соседство с темой сродности. Тема счастья, наиболее полно изложенная в «Разговоре пяти путников», присутствует и в «Начальной двери», и в «Наркиссе», и в «Алфавите», и — так или иначе — во всех остальных диалогах и трактатах. То же самое касается и образа сердца, как средоточия

человеческой духовности, темы «внешнего» и «внутреннего» человека, двоеволия.

Можно было бы сказать, что теме «Библии», то есть теме символического языка как универсального средства коммуникации между микро и макрокосмом, посвящены три работы — «Икона Алкивиадская», «Жена Лотова» а «Потоп Змиин». Но тогда за пределами этой условной черты останутся «Начальная дверь», «Асхань», «Кольцо».

О двух поздних диалогах Сковороды — «Благодарный Еродий» и «Убогий жайворонок» — по традиции принято говорить, что в них отложились прежде всего педагогические воззрения мыслителя. В этом «рабочем» определении тоже есть своя условность, ведь, в конце концов, кто же такой Сковорода во всех его других сочинениях, как не педагог, как не учитель праведной, «истинной» жизни?

Остановимся, однако, на двух названных диалогах. Педагогические мотивы, выраженные в них, локализованы вокруг темы семейного воспитания. Рассматривается отношение детей к родителям и родителей к детям. В обоих диалогах мы вновь встречаемся с темой сродности. Правда, на этот раз она под пером автора обогащается новыми смысловыми оттенками. Мать-природа не только дарует жизнь и сродность всякому существу, она же есть для него первая и «истинная учительница». «Всякое дело спеет, аще она путеводствует. Не мешай только ей, а, если можешь, отвращай препятствия и будьто дорогу ей очищай… Яблони не учи родить яблока: уже сама натура ее научила. Огради ее только от свиней, отрежь волчцы, очисти гусень… Учитель и врач несть врач и учитель, а только служитель природы, единственный и истинный врачебницы и учительницы».

В этих словах перед нами не что иное, как изложение одного из основных принципов «сократического метода» воспитания; Сократ в шутку именовал себя родовспомогательницей, повивальной бабкой при истине. Сковорода только иными словами характеризует истинное призвание педагога, но смысл тот же: воспитатель не более как подмастерье в мастерской природы, его главная забота — помочь воспитаннику в выявлении сродности, а не прививать ему склонностей, противоречащих «заданию» природы. В этом смысле «вспомогательное» искусство воспитания — искусство необычайно тонкое и сложное. Воспитатель — не законодатель, раздражительный, властный, требующий беспрекословного повиновения, а деликатный советник, прозорливый проводник, терпеливый служка, умеющий вовремя обрезать «волчцы» несродных воспитаннику поступков,

«Истина безначальна»

Сковорода очень много думал о том, как человек читает книгу. Он думал, и, говорил, и писал об этом много, потому что считал, что умение или неумение правильно читать есть одно из важных свидетельств о человеке.

«Когда наш век или наша страна имеет мудрых мужей горазда менее, нежели в других веках и сторонах, — читаем в трактате «Жена Лотова», — тогда виною сему есть то, что шатаемся по безчисленным и разнородным книг стадам — без меры, без разбору, без гавани. Вольный разных тварей беспокоит, а здоровый одною ядью сыт. Скушай одно со вкусом, и довлеет. Нет вреднее, как разное и безмерное. Пифагор, ражжевав един треугольник, сколько насытился?»

Несколько грубоватые «пищеварительные» сравнения совсем не случайно появляются здесь у Сковороды. Древние народы, поясняет он, почитали священными жертвенными животными лишь тех, которые жуют пищу, а не заглатывают ее сразу. Жуют, отрыгают и снова пережевывают.

«Ученый премного жрет. Мудрый мало яст со вкусом. Ученость, прожорство — то же. Мудрость же и вкус есть то же».

В трактате «Жена Лотова», отчасти посвященном культуре чтения, вопрос об умеренности и воздержанности при обращении с книгой ставится неоднократно, это видно даже по названиям отдельных глав: «О страшной опасности в чтении», «О чтении в меру», «О чтении в пользу душевну».

Велика ли была книжная ноша самого Сковороды? Многое ли могло уместиться и его сумке странствующего мудреца?

В 1780 году на Подоле в Киеве случился страшный пожар, в результате которого погибло около девяти тысяч томов академической библиотеки. Узнав об этом, Григорий Саввич был потрясен: «О пламень, поядший Киевскую библиотеку, такия и толикия манускрипты…» Ведь там, в стенах училищного книгохранилища, прошли лучшие дни его молодости. Там книга открылась перед ним, как живое существо.

Потом были книгохранилища Троице-Сергиевой лавры и Харьковского училища, домашние библиотеки слобожанских друзей и покровителей Сковороды.

В письмах его к друзьям то и дело звучат просьбы: прислать нужный том; никогда не наступал для него тот возраст, когда человек говорит себе: ну вот, теперь я уже все прочитал, что мне нужно.

Он был одним из самых начитанных людей своей эпохи —

человек, который учил, что читать нужно мало, но много нужно «жевать». Михаил Ковалинский приводит в биографии имена любимейших авторов Сковороды: (Плутарх, Филов Иудеаипн, Цицерон, Гораций, Лукиан, Климент Александрийский, Ориген, Нил, Дионисий Ареопагитский, Максим Исповедник, а из новых относительный к сим». Этот синеок неполон и не совсем точен, потому что если говорить о «любимейших», то вряд ли, например, правильно было бы называть среди них Лукиана, которого сам Сковорода, как известно, никогда ни прямо, ни косвенно не упоминает, а, с другой стороны, не назвать Вергилия или Сенеку, неоднократно и любовно им цитируемых. Ковалинского можно извинить: он писал не научный комментарий к собранию сочинений Сковороды, а воспоминание о недавно умершем друге. Он спешил и потому не все детали мог сразу вспомнить.

Но сегодня тем более необходимы уточнения (например, по поводу этой вот невнятной скороговорки: «а из новых относительный к сим»). Смысл ее в общем-то ясен: Ковалинский имеет в виду, что Сковорода симпатизировал том писателям нового времени, которые продолжали и развивали традиции любимых им древних авторов. Но это все-таки слитком общий смысл, а нам хотелось бы располагать более конкретными сведениями.

Есть, например, мнение, что Сковорода знал учение Спинозы и именно из этого учения позаимствовал свои «пантеистические взгляды»; что он знал учение Лейбница и позаимствовал у немецкого мыслителя идею микро и макрокосма; что он читал Руссо и позаимствовал у последнего антиурбанистические настроения. Но поскольку у Сковороды нигде нет ссылок на произведения названных тут мыслителей и поскольку идеи и взгляды, которые он якобы «позаимствовал», существовали на Европейском континенте с весьма и весьма отдаленных времен, то вопрос о заимствованиях оказывается весьма проблематичным.

Так что прежде всего надо выяснить иное: каковы все-таки были книжные интересы Сковороды и каковы его собственные свидетельства об этих интересах.

Ограничив себя таким подходом, мы обнаружим, например, что о новоевропейских литературных симпатиях мыслителя сказать можно ие так уж много: в своих сочинениях он несколько раз сочувственно цитирует Эразма Роттердамского; известны два его перевода произведений французского поэта-латиниста XVI века Марка Антония Мюре и перевод оды «Об уединении», принадлежащей перу нидерландского автора XVI–XVII веков Сидрония (Гошия), тоже сочинявшего на латинском языке. Подбор имен, как видим, достаточно скромный. Зато совершенно

особое место занимают в его творчестве античные штудии. Он неоднократно приводит и анализирует высказывания Платона, Аристотеля, Эпикура, Сенеки; часто ссылается на мнения или на случаи из жизни Фалеса, Солона, Пифагора, Сократа, Диогена, Катона Старшего; его перу принадлежат большие по объему переводы из Плутарха и Цицерона (до нас дошли два перевода из шести), переложения басен Эзопа, од Горация, фрагментов из Ёврипида, Вергилия, Овидия; он свидетельствует о себе как о читателе сочинений Плавта, Менандра, Теренция, Марка Аврелия; наконец, цитирует и комментирует стихотворные строки из «Утешения философией» Боэция — последнего большого писателя эллинистического мира.

Воспроизводимый здесь «круг чтении» Сковороды уже дает возможность составить представление о творческих влияниях, испытанных мыслителем со стороны античной философской традиции, поскольку сам он, как правило, упоминает, цитирует и ссылается в своих произведениях лишь на тех авторов, образу мыслей которых симпатизирует и сочувствует. Впрочем, главное философское влияние, ощутимое в самых глубоких чертах учения Сковороды — ввиду очевидности этого влияния, — обнаруживается и без оглядки на приведенный выше перечень античных авторов. Это, безусловно, влияние объективного идеализма Платона, в частности же, платоновского учения об идеях. Четкое различение двух природ, «натур» — видимой и невидимой, телесной и духовной, временной и вечной, «материи» и «формы» — является в учении Сковороды прямым воспроизведением платоновской «двоицы»: идея-модель и материальный мир. «Сии формы, — делает Сковорода прямую ссылку, — у Платона называются идеи, сирень видения, виды, образы».

Следующее по значимости влияние — в первую очередь оно сказывается на антропологическом учении Сковороды — есть влияние философии стоиков, и шире — представителей позднеантичного морализма. Сковорода не только на протяжении многих десятилетий пребывает в атмосфере нравственных проблем, волновавших Сенеку, Плутарха, Цицерона, Марка-Аврелия, но и своим житейским опытом «проверяет» такие существенные принципы позднеантичной этики, как «довольство малым», познание себя, следование собственной природе.

Эта «проверка» не есть, однако, ученическое исполнение тех или иных житейских установлений, изложенных древними философами и писателями. Круг этических идей Сковороды, вбирая в себя многие принципы античной этики, содержит и качественно новые идеи, характеризующие их автора как

представителя совершенно иной эпохи. Сковорода то и дело вносит весьма решительные коррективы в идеи и образы любимых философов и писателей античности. Специфика его отношения к морально-этическому наследию позднеантичной литературы нагляднее всего может быть раскрыта, пожалуй, на примере отношения к одному из античных авторов, Горацию.

Сковорода в разное время сделал переводы двух стихотворений поэта из второй книги «Од». Это оды 10я и 16я, шедевры римского классика, которые для многих поколений читателей служили своеобразным введением в поэтический мир Кшшта Горация Флакка и неизменно включались в школьные антологии и хрестоматии.

Сковорода считал, что переводить можно двояким обраком: есть «переложение» — оно в идеале стремится к созданию филологически точного, адекватного подлиннику текста; и есть «перетолкование» — жанр, дающий гораздо большую свободу для авторского самовыражения.

16ю оду переводчик сначала «переложил», но спустя некоторое время вновь обратился к ней, на этот раз уже как «перетолкователь».

В результате второй его встречи с Горацием и родилось стихотворение, которое является не только одним из лучших образцов философской лирики Сковороды, но в наглядно свидетельствует о том, что именно настойчиво искал оп в культурном наследии античного мира, а в частности, в творениях знаменитого римлянина.

В 24й песне из «Сада божественных песней», с ее страстными вопрошающими интонациями, было бы совершенно напрасно искать воспроизведения пластически монолитного стиля Горация, изысканной звуковой инструментовки л ритмической изощренности его стиха. Сравним начальные строфы; вот как звучит Гораций в современном «классическом» переводе:

Мира у богов мореход эгеиский
Просит в грозный час налетевшей бури,
Из-за черных туч в небесах не видя
Звезд путеводных,
Мира просит гет, утомлен войною,
Мира просит перс, отягченный луком,
Только мира, Гросф, не купить за пурпур,
Жемчуг и злато.

Тема мира, покоя, духовной пристани под пером Сковороды звучит с библейской энергией и неуравновешенностью:

О покою наш небесный! Где ты скрылся с наших глаз?
Ты нам обще всем любезный, в разный путь разбил ты нас.
За тобою то ветрила простирают в кораблях,
Чтоб могли тебе те крила по чужих сыскать странах.
За тобою маршируют, разоряют города,
Целый век бомбардируют, но достанут ли когда?

Мы видим, что, подхватив тему Горация, Сковорода тут же ее решительно переакцентирует: люди ищут покоя и мира самыми абсурдными и немирными способами. Но мира нельзя найти, если нет его внутри человека:

Ах, ничем мы не довольны — се источник всех скорбен! Разных ум затеев полный — вот источник мятежей!

Качественно новый смысл вложен теперь и в заключительную строфу. Сковорода сознательно опускает такую типичную для сторонящегося житейских треволнений римлянина реалию, как утешение искусствами:

У меня — полей небольшой достаток, Но зато даны мне нелжицой Паркой Эллинских камен нежный дар и к злобной Черни презренье.

Противопоставление одного способа жизни другому у переводчик;! выглядит гораздо резче, бескомпромиссней:

Вас бог одарил грунтами, но вдруг может то пропасть, А мой жребий с голяками, но бог мудрости дал часть.

Так практическая трезвость и осмотрительность Горация, его тяготение к наименее уязвимой социальной позиции — к пресловутой «золотой середине» между «(ильными мира сего» и «презренной чернью» — теряют и интерпретации Сковороды черты комфортабельности, получая резкий сдвиг в сторону принципов христианской этики с ее проповедью бессребреничества, презрения к роскоши и добровольной нищеты.

Там, где у Горация середина, у Сковороды — крайность, вызов; где у одного — мера и расчет, у другого — явное пренебрежение правилами житейского благоразумия. «Перетолкование» — своего рода полемический выпад в адрес традиционных представлений о Горации. Сковорода сознательно поновляет «лик» умеренного римского гражданина, сообщая ему экстатически-резкие, «пророческие» черты, потому что, по его мнению, эти черты у Горация, безусловно, были, хотя и в скрытом, непроявленном виде. Не случайно поэтому, что в предисловии к своему стихотворению он пазывает Горация не поэтом, а «римским пророком». Это не описка, но

лингвистическая вольность. В отношении к Горацию заявляв! о себе пафос широкой и последовательной «реабилитации» античного философского и художественного наследия, органически присущий Сковороде как историку идей. Этот пафос характеризует его отношение не только к Горацию, по — в разной степени проявленности — и к Платону, Эпикуру, Цицерону, Вергилию, Сенеке, Плутарху — словом, к большинству любимых им античных авторов.

Истинная премудрость, по мнению Сковороды, не гнушается никаким местом и временем. Эта мысль убедительно конкретизирована в одном его стихотворном фрагменте, где Мудрость говорит о себе:

У греков звалась я Софии в древной век, А мудростю зовет всяк руской человек, Но римлянин мене Минервою назвал, А христианин добр Христом мне имя дал.

Истинная мудрость была известна человеку всегда, но существовала под разными именами и с разной степенью выявленности. Например, идею самопознания, говорит Сковорода, прекрасно знали уже египетские мыслители, эта идея нашла в Египте пластическое выражение в образе сфинкса. «Имя его значит связь или узол. Гадание сего урода утаевало ту же силу: «Узнай себе»… Для сего египтяне онаго урода статуи поставляли по улицам, дабы, как многочисленный зеркала, везде в очи попадая, сей самонужнейшее знание утаевающий узол на память приводили». Чрезвычайно любопытно, что спустя несколько десятилетий после того, как были на писаны эти слова, Гегель в своей «Эстетике» дал символическому образу сфинкса характеристику, повторяющую толкование нашего отечественного мыслителя. «Разгадка символа, — писал немецкий философ, — заключается в сущем в себе и для себя значении, в духе, подобно тому как знаменитая греческая надпись обращается к человеку с увещанием: познан самого себя». Эта параллель знаменательна еще и тем, что Сковорода, говоря о сфинксе, так же, как и Гегель, ссылается непосредственно на греков — на учение Фалеса о самопознании и на знаменитую надпись в дельфийском храме Аполлона: «Узнай себя».

Чем внимательней и беспристрастней всматривался мыслитель в прошедшие века, тем все более убеждался он в пагубности исторического высокомерия, философской чванливости. «Высокомудрствовать, значит, будто в наш век родилась истинная премудрость, незнаемая древним векам и нашим предкам».

«Истина безначальна», — любил повторять Сковорода, нельзя в истории найти такой точки, с которой можно было бы начать

отсчет существования истины, потому что истина есть начало и конец, альфа и омега, она вечна.

Конкретное приложение этого вывода к истории идей, к истории мировых культур и подвигало Сковороду на «реабилитацию» тех или иных частных идей и имен. В истории мировых культур его в первую очередь интересовали не те ситуации, в которых эти культуры взаимо-отталкиваются, изолируются друг от друга, а, наоборот, ситуации общности, родственности идей. Поэтому, например, в комментариях к собственному переводу Плутарха он так ревниво реагирует на несправедливые, по его мнению, выпады греческого историка и философа в адрес пифагорейцев, эпикурейцев, стоиков. Поэтому же в одном из своих стихотворений решается на чудовищное — с ортодоксально-богословской точки зрения — сопоставление: («так живал афинейский, так живал и еврейский Епикур — Христос»).

Правда, в последнем случае Сковорода мог сослаться на авторитет такого весьма почитаемого в кругу современников богослова, как Эразм Роттердамский, который в диалоге «Эпикуреец» из «Разговоров запросто» двумя с половиной веками ранее отстаивал тот же самый парадокс, говоря: «Никто так не заслуживает имени эпикурейца, как прославленный и чтимый глава христианской философии».

Здесь интересно будет отметить, что отношение Эразма к культурно-историческому наследию античности формировалось отчасти под влиянием тех же самых авторов, которых, характеризуя «круг чтения» Сковороды, перечисляет Ковалинский: это Филон, Климент из Александрии, Ориген, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник. Видимо, не случайно среди философско-богословских авторитетов раннехристианской эпохи Сковороду особенно интересовали как раз эти имена; за исключением автора «Ареопагитик» и Максима, все названные мыслители — выходцы из Александрии, философская школа которой всегда отличалась самой широкой веротерпимостью: правоверный иудей Филон боготворил язычника. Платона, а Ориген и Климент развивали учение о предсуществовании идей и идеалов христианства в сознании почти всех великих мыслителей античности.

Ориген, как известно, испытавший на себе особенно глубокое влияние языческих философских традиций, принимал и развивал античную идею вечности материи; и скорее всего именно через него эта идея вошла в круг представлений Сковороды, хотя, так же как и Ориген, он видел в материи не первооснову бытия, а лишь одну из двух сосуществующих в противоборстве и

взаимодействии «натур». Сковородинская «вечная материя» вечна лишь постольку, поскольку опа является антитезой вечности — безграничного и надвременного духовного начала и постоянно пребывает при этом начале, то сокращаясь и исчезая, то вновь возникая, как тень при яблоне. «Но древо вечности всегда зеленеет» («древо вечности», яблоня и тень — любимые образы мыслителя, многократно варьируемые им в самых разных контекстах).

Присутствие этой идеи в учении Сковороды неоднократно служило поводом к тому, чтобы характеризовать его как пантеиста и даже говорить об эволюции его взглядов к материализму, хотя для подобного рода утверждений сам мыслитель не дает достаточно надежных оснований, и в связи с этим имеется опасность принять желаемое за действительное: в образе «тень при яблоне», как очевидно, предпочтение отдано все-таки одной из двух «натур».

«О символах или образах»

Уже говорилось выше о том, какое особое место занимала в сочинениях Сковороды проблема Библии; к осмыслению этой книги он возвращался в разные годы: 1767-й — «Асхань», 1773—1774-й — «Кольцо», 1776-й — «Икона Алкивиадская», 1788-й — «Жена Лотова», наконец, около 1790 года — «Потоп Змиин».

В разных местах своих сочинений Сковорода сравнивает Библию с лестницей, с обетованной землей, с варварской статуей, с рыбацкой сетью, с ковчегом, с алтарем. Библия, говорит он, есть «узел и узлов цепь», «седмиглавный дракон», «лабиринт», «ложь», «царский врачебный дом», «тяжебное дело богу со смертными», «солнце всех планет», «человек и труп», «сердце вечное»; «Библия есть то же, что сфинкс». Всего в сочинениях Сковороды обнаруживается не менее пятидесяти метафор, характеризующих его личное восприятие Библии и иногда резко контрастных по отношению друг к другу.

Актуальность проблемы «символического мира» для Сковороды определяется в первую очередь тем, что Библия для него совершенный образец символического метода мышления, а этот метод, как уже отмечалось выше, есть характернейшая черта и его личного философского стиля.

Всякое обращение человека к книге (книге вообще, не только Библии), всякое обращение к искусству требует от него умения «читать» внутренний смысл произведения, открывающийся через целокупность словесных или пластических образов, через определенные «знамения». «Древние мудрецы, — пишет Сковорода, — имели свой язык особливый, они изображали мысли свои образами, будто словами. Образа те были фигуры небесных и земных тварей, например, солнце значило истину, кольцо или змий, в кольцо свитый, — вечность…»

Этот «язык особливый» и есть основное свойство стиля Сковороды-писателя. Назидательная притча, вставная новелла, басня-бывальщина, народная присказка или выдержанный в фольклорном духе авторский афоризм — вот тот преобладающий образный материал, с помощью которого строится его философская проза. «Пусть учит без притчей тот, — поясняет сам Григорий Саввич, — кто пишет без красок! Зияешь, что скоропись без красок, а живопись пишет красками».

Под притчей здесь разумеется не только лишь сюжетное иносказание, но вообще образ, метафора. В устах философа метафора, усиленная многократным и вариантным повторением, обогащенная дополнительными значениями, превращается в

символ, в знак, в сгусток содержательности.

О том, как с помощью символического метода Сковорода создает в своих произведениях образы чрезвычайно богатого смыслового наполнения, можно составить понятие, разобрав подробно лишь один из таких образов. В произведения к: Сковороды он носит наименование «Петра» и заключает в себе представления о бытийной основе, фундаменте человеческого существования и одновременно с этим о людском призвании, жизненной цели.

Читая Библию, Сковорода то и дело слышал про себя гул морской пучины. Вот Ноев ковчег, кочующий по волнам потоппым в поиске твердой суши. Вот морские валы, потопляющие войско фараона. Вот пророк. Иона в чреве кита. Вот Петр, застигнутый вместе с другими учениками бурей на Генисаретском озере.

Не те же ли образы волновали и великих греков, римских писателей? Многолетние морские борозды Одиссея, который привязывает себя к мачте, чтобы не слышать прелестных голосов стихии, морские злоключения Энея и его дружины, странствования аргонавтов… А Гораций со знаменитым началом его 16-и оды! «Мира у богов мореход эгейский просит в грозный час налетевшей бури…»

Все они просят о том, чтоб утихомирилась стихия, все мечтают о покое.

Слово «покой» в современном языковом обиходе обросло компрометирующими ассоциациями, упростилось до значения, выражающего обывательскую косность, жизнебоязнь. Но в речи Сковороды это древнее слово носит высокий смысл: в вековечных своих чаяниях человек мыслит о покое как о преодолении жизненного несовершенства, как о духовной награде за свои труды, за страдные, орошенные потом пути. Он жаждет причаститься покоя как гармонической полноты бытия. Он думает о покое как о вечности.

В раздумьях о надежном жизненном «береге» Сковорода постоянно облекает свою мысль в оболочку античной мифологии и библейской образности. Вспомним хотя бы имя Варсава, которым он обозначил свое литературное «я» в диалоге «Пря бесу со Варсавою». В этой — для постороннего слуха, казалось бы, причудливой — замене Саввича на Варсаву (многие свои письма он подписывает «Варсава», «Григорий Варсава Сковорода») был для пего особый смысл, пусть маленькое, но радующее открытие. «Вар, правдивее же Бар, — поясняет он, — есть слово еврейское, значит сын; Сава же есть слово сир-ское, значит суббота, покой, праздник, мир. И так Вар-Сава — сын Савы, сиречь сын мира…»

В ветхозаветном языковом обиходе суббота — день покоя,

завершение меры времени, следующий за шестью днями творения роздых: «И почил в день седьмый От всех дел своих».

Не зная этого смысла, укорененного в слове «суббота», нельзя понять и «дикого» на первый взгляд образа, заключенного в стихотворении Сковороды о распятом Христе:

> Лежишь во гробе, празднуешь субботу,
> По трудах тяжких, по кровавому поту…
> Убий телесну и во мне работу!
> Даждь мне с тобою праздновать субботу…

Сковорода говорит здесь на языке, в лоне которого он вырос. Конечно, современному читателю речь Сковороды далеко не всегда ясна. Слишком велика дистанция, отделяющая нас от его эпохи, от образов и представлений, которые были понятны его современникам сразу, без пояснений.

Впрочем, уже и в XVIII веке подобная манера изложения соответствовала далеко не всякому вкусу. Один из современников (это Иван Вернет, о котором упоминалось выше) писал о сочинениях Сковороды: «Стихи его вообще противны моему слуху, может быть, оттого, что я худой ценитель и знаток красот русской поэзии. Проза его также несносна для меня…»

Сто лет спустя с еще большей определенностью на эту тему высказался в своем «Очерке развития русской философии» Густав Шпет: «…Сковорода пропитывается библейской мудростью и, как истый начетчик, засыпает глаза и уши читателя — до его изнеможения, до одури — библейским песком». Высокомерная брезгливость, которая была весьма свойственна этому мыслителю в отношении к предмету своего исследования, отчетливо проявилась и в частном случае — по отношению к Сковороде. То, что Шпету представлялось песком, то для Сковороды было драгоценной россыпью. Тут просто два разных подхода к одному предмету.

Можно было бы и не приводить эти частные мнения, если бы в них не проглядывал один общий мотив. Понимание писателя начинается с доброжелательного внимания к языку, на котором он изъясняется. Нежелание пойти в строй этого языка немедленно влечет за собой и неуважение к самому автору. Это поучительная ситуация, которая подтверждается в практике любого читателя.

Сковорода то и дело прибегал к истолкованию слов, понятий, образов вовсе н<з из стремления продемонстрировать свою лингвистическую осведомленность. Он озабочен тем, чтобы слово открылось читателю в обогащенном значении. Так, развивая и уточняя тему покоя, он к словесному ряду «покой — гавань —

твердь — вечность — мир — праздник — суббота» добавляет еще одно понятие, которое этот ряд окончательно замыкает и делается для него основным, ведущим понятием — «архитипосом». Такой «архитипос», по мнению Сковороды, в данном случае понятие Петра, или Кифа. «Кифа, правдивее же кефа, — поясняет он, — есть слово еврейское. Эллински — петра и есть каменная гора; польски — скала. Она часто кораблям бывает пристань с городом. Сей есть образ блаженства, места злачного (то есть обильного плодами, злаками. — 10. //.), где человек от китов, от сирен и от волнений мирских упокоевается…

Поясняя, что значит для него понятие «архитипос», Сковорода говорил, что в человеческой речи существует особая смысловая иерархия, понятия и образы частные тяготеют к понятиям и образам более общим. «Архитипос» есть в этой иерархии «первоначальна, и главна фигура, а копии ея и вицефигуры суть безчисленныя…»

Так образ Петры-камня, надежного жизненного основания, объединив вокруг себя целую группу образов-подобий, стал в творчестве Сковороды, по словам современного исследователя, символом «духовного средоточия и опоры мятущейся и страстной душевной жизни».

В одном из фрагментов «Алфавита мира» Сковорода описывает посещение собеседниками комнаты, украшенной множеством картинок с символическими изображениями. Друзья рассматривают «выставку», а ее хозяин дает пояснения. Например, рисунок с изображением морской раковины, закрывающей створы, есть символическая реализация все той же темы самопознания, на что указывает и надпись, расположенная под рисунком: «Ищи себе внутрь себе». Истинные сокровища не в многошумящем море, которое со всех сторон окружает раковину, а в ней самой, в ее жемчужной сердцевинке. Рядом изображен уже знакомый нам Нарцисс, засмотревшийся в водное зеркало, и горящая свеча, окруженная мотыльками, амур, поддерживающий на плечах Землю, и горлица, тоскующая над тельцем мертвого своего супруга… В автографе «Алфавита» каждый из этих сюжетов проиллюстрирован соответствующей миниатюрой. Интересна история всех этих изображений. Они позаимствованы из популярного в XVIII веке сборника «Симболы и эмблематы», который был своеобразной антологией одного из самых живучих жанров средневекового изобразительного искусства. Первое издание «Симболов и эмблемат» появилось в России при Петре I, но множество из вошедших в сборник изображений славянскому читателю было знакомо еще… со времен Киевской Руси — из многочисленных «Шестодневов» и «Физиологов», которые, в свою

очередь, восходили к книжным традициям александрийской философской школы времен Оригена и Климента. Русские «Физиологи» повествовали о привычках и повадках звериного и птичьего мира, которые могли быть поучительными «знамениями» и для человека; так, в одном из своих писем киевский князь Владимир Мономах упоминает ту самую тоскующую горлицу, изображение которой спустя шесть веков вошло и в сковородинский «Алфавит». Человек XVIII века, эпохи, казалось бы, резко порвавшей с традициями древнерусской культуры, Сковорода оставался глубоко верен многим ее идеям, принципам и образам. «Традиционные» черты в его писательском облике еще почти не исследованы, а их детальное изучение необходимо хотя бы для того, чтобы иметь более реальные представления о соотношении «западных» и «восточных» мотивов в его творчестве.

В беседе «Диалог или разглагол о древнем мире», в очередной раз обращаясь к своей излюбленной антитезе человек истинный — человек внешний», Сковорода иллюстрирует ее с помощью пластически выразительного символа (это описание впоследствии взял эпиграфом к одному из своих рассказов Н. Лесков: множество «внешних» относится к «истинному человеку» так же, как отражения в сотне зеркал — к лицу, находящемуся в их кругу; при этом лице «все наши болваны суть аки бы зерцаловидныя тени, то являющиеся, то исчезающие…»). Первоисточник этого образа восходит к текстам «Ареопагитик», к знаменитым «зеркалам», иллюстрирующим иерархию духовных совершенств, но необходимо добавить, что, помимо книжного, образ зеркала имеет у Сковороды еще и житейский источник: об этом, впрочем, напоминает и сам автор: «Бывал ли ты когда в царских палатах? Стоял ли посреди чертога, имеющего все четыре степы и двери, покрытый, будь-то лаком, зеркалами?»

Как видим, «язык особливый» Сковороды формировался далеко не только на основе книжных впечатлений. Вспомним «обманные» картины в жанре «суета сует», которые еще юношей видел он в Петербурге; вспомним многочисленные символические изображения, которые неизменно привлекали его внимание в самых разных местах и в самые разные времена: венгерские кафельные печи с аистами, рисунки на стеши: Харьковского коллегиума, «лицевые» сборники монастырских книгохранилищ… Произведения его поражают читателя обилием образов, подсказанных изобразительным искусством; и не будет преувеличением, если скажем, что он как писатель по преимуществу видел мир и что зрительный образ был для него основной мерой мира. Недаром медь говорил не раз: «Око есть

природный циркуль». В сочинениях Сковороды на основе символического изображения иногда выстраивается целый повествовательный сюжет. Такой рассказ, например, сопутствует рисунку, на котором изображены два брата, безногий и незрячий, помогающие друг другу дойти домой. Символ-рисунок часто служит основой для мировоззренческого обобщения, как мы видели в эпизоде с фонтаном, иллюстрирующим идею «неравное равенство».

Наконец, нередко у Сковороды эмблематическое изображение, символическая фигура обрастают таким количеством ассоциаций, что сами становятся смысловым средоточием отдельных диалогов, что отражается и в названиях: «Наркисс», «Кольцо», «Благодарный Еродий».

Пластический образ для мыслителя — основной прием воздействия на читателя и слушателя, помогающий сделать отвлеченную идею наглядной, общедоступной. Стилю Сковороды органически присущ демократизм выражения, его сочинения открыты для самого широкого читателя, и все, что на первый взгляд есть в них загадочного, непременно сопровождается разгадками, пояснениями, истолкованиями. Ведь, по глубокому его убеждению, истина с наибольшей силой раскрывается человеку лишь тогда, когда он преодолеет ее первоначальную сложность, загадочность, когда научается во внешнем «знамении» обнаруживать внутренний смысл, под скорт лупой — ядро, иод шелухой — зерно.

Таковы, по учению Сковороды, взаимоотношения между человеком, окружающей его реальностью и Библией-«сфинксом» — символическим отражением этой реальности в культуре — в книжном слове, в произведениях искусства.

СТАРЧИК

О зачем мы стучимся в двери к мудрецам? Зачем спешим на первом подвернувшемся под руку клочке бумаги записать их свидетельства о жизни? Разве для того, чтобы потом говорить: «Вот я знал этого человека, он беседовал со мной»? Нет, мы ищем слова утешения, ждем слова надежды. В конце концов, мы одного всего лишь и хотим, и вот чего: чтобы он… погладил нас по голове. Да-да, именно взял и погладил по голове, пусть даже он и слова никакого при этом не скажет. Потому что какая же цена мудрости, если она к нам равнодушна, если она заботится лишь о том, чтобы быть «объективной»?! Мы ждем от мудрости любви и милосердия, а не безупречных силлогизмов. Садясь за один стол с мудрым человеком, мы хотим насытить свое маленькое голодное сердце. А насытится оно лишь тогда, когда мы увидим, что сердце нашего собеседника открыто для нас. Что оно тихо лучится для нас своим опытом.

Мы ведь ждем от него не афоризмов, которые следует заучить наизусть, и не списка книг, которые следует прочитать. Мы хотим, чтобы он объяснил, как нам лучше вести себя — с отцом и матерью, с женою и детьми, с братом, другом и тем, кого мы считаем своим врагом, наконец, с тем бесконечно разнообразным человеком, которого принято называть «первый встречный», а значит, и с целым миром. Мы хотим, чтобы он подсказал, как нам думать о жизни и как вести себя по отношению к смерти.

Мы обращаемся к нему не от избытка собственной жизни, а потому, что осознаем ее несовершенство и томимся этим. Если он скажет нам: вот вы плохи тем-то и тем-то, то что он прибавит нам своими словами? Нет, мы уповаем на то, что он среди нашего плохого обнаружит в хорошее, и поддержит его, и поможет ему расти. И мы идем, и стучим в дверь, и шепчем про себя: «Любви и милосердия, милосердия и любви…»

На пятом десятке своей жизни кавалер орденов Владимира и Анны, полковник Михайло Иванович Ковалинский все чаще стал чувствовать тяжесть на сердце — не физическую тяжесть, которая пригнетет да и отпустит, а иную, от которой немил делается белый свет, пусто внутри, как в заброшенном жилье; и что бы ни делал, а все выходит пресно и без надобности. Получилось так, что, но собственному признанию, он «увидел в щастии превращение, в друзьях — измену, в надеждах — обман…».

В «Жизни Григория Сковороды», откуда мы приводим это признание, Ковалинский пишет о себе в третьем лице: «В глубоком уединении остался он один, без семейства, без друзей,

без знакомых, в болезни, в печалех, в безпокойствах, без всякого участия, совета, помощи, соболезнования».

В апреле 1794 года он получил почту от Андрея Ивановича Ковалевского, харьковского помещика, с которым когда-то, как напоминал автор письма, они были знакомы. Из письма Михаил узнал, что Григорий Саввич опять находится в имении Ковалевского, селе Ивановка, что недавно он перенес тяжелую болезнь, но теперь дело идет на поправку и что местный художник писал со Сковороды портрет масляными красками, который хотят переслать ему, Коваленскому. «Вы нам часто во сне видитесь, и мы всякой почти день с Григорием Савычом об Вас беседуем и желаем, чтоб Вы в наших местах купили деревню…»

Коротенькое письмо разволновало Михаила. Вдруг стыдно ему стало, что вот сколько ужо раз писал он Сковороде о своем желании поселиться где-нибудь возле него, но все на деле ограничивалось лишь мечтательным прекраснодушием. А ведь старик, похоже, совсем уже слаб; то и дело доходят вести о его продолжительных болезнях, шутка ли, семьдесят два года ему минуло, и почти двадцать лет пролетело с тех пор, как они в последний раз виделись. И если теперь он, Михаил, будет все так же тянуть да оттягивать, то, как знать, увидятся ли они вообще когда-нибудь?

«Вы нам часто во сне видитесь…» Как тронула его эта по наружности обычная эпистолярная фраза! Григорий Саввич помнит его, ждет! И… немножко обижается; иначе сам бы хоть пару слов приписал. Вот единственная на земле долготерпеливая душа, которая во всякий день и час примет его, опустошенного, даст надежду и утешение!

Нет, нужно было решаться! Ковалинский, будто встряхнувшись после гнетущего сна, с новой энергией принялся хлопотать о покупке имения. Лет десять-пятнадцать назад он мог бы еще сравнительно легко оформить купчую на какую-нибудь деревеньку в окрестностях Харькова, но теперь приобрести землю на Слобожанщине оказалось не так-то просто. Наконец, подвернулся один вроде бы подходящий адрес: село Хотетово, в двадцати пяти верстах от Орла. Правда, далековато от нынешнего местожительства Сковороды, но лучшего варианта не предвиделось, и Ковалинский решился.

Летом, оставив в Петербурге семью и должность, он уехал в Хотетово. Однако там ожидало его разочарование: место выглядело более чем невзрачным, вряд ли оно понравится Сковороде. Вокруг плоская равнина, нет реки, нет леса, да и на самом селе лежит какая-то угрюмая печать заброшенности, запустения: редко у кого перед окнами растет деревце.

Однако он сразу же отослал приглашение и Ивановку. День шел за днем, ответа не было, да и вряд ли можно было ожидать скорого и радующего ответа. Лето стояло ненастное, сеногнойное, шли по-осеннему затяжные дожди, черноземные орловские дороги превратились в месиво., Конечно, хворого старика в такую непогодь никто не выпустит из Ивановки.

Он днями не выглядывал на улицу, хотя и в доме, совсем чужом, с печатью невнятной жизни бывших владельцев, было ему невыразимо уныло. Вернулось прежнее давящее чувство пустоты, не хотел он ни есть, ни пить, ни читать, ни глядеть в окно, за которым с утра до вечера ползли тучи над безлюдной сиротливой равниной. Это, наконец, походило на какую-то добровольную ссылку. Он уже стал подумывать о том, не опрометчиво ли, не по-мальчишески ли поступил, решившись на такую резкую перемену. Надо же, в свои неполные пятьдесят лет он вдруг поддался минутному настроению, может капризу, бросил всех и все и понесся навстречу неизвестности, ободренный двумя или тремя строчками которое к тому же написано почти неизвестным человеком! Это ли не наивность, это ли не свидетельствало, что сердце его до сих пор так и не умудрилось по-настоящему?

Похоже, самые тяжелые дни в целой своей жизни переживал он сейчас, отгороженный от всего мира непогодой и невидимой стеной отчуждения. Молча лежал на кровати, не раздеваясь, небритый, безвольно ворочаясь с боку на бок, как дверь ворочается на своих крючьях.

Наступил август. От Сковороды по-прежнему не было никаких вестей. Ковалинский дожидался почты хоть с каким-нибудь ответом, чтобы знать, как ему поступить.

И вдруг — не чудо ли! — посреди ненастного дня оп услышал голос и в следующий миг увидел светлое лицо старика, бодро вышагивающего к его окнам. Он узнал это лицо, хотя наполовину оно было прикрыто каким-то ветхим, намокшим от дождя капелюхом, узнал старую котомку своего Сковороды и старый узловатый посох в его руке.

И он еще сомневался, и в ком сомневался-то? В этом вот веселом старике, который есть само воплощение надежности и верности, ее живой и прекрасный образ на земле!

Они обнялись, расцеловались, и Ковалинский прижался к телу Сковороды, усохшему и костлявому, ощутил под ладонью его ребрастую старческую — как бы отцовскую — спину, которая вдруг затряслась. Как вспышка молнии в заволокнутом небе была эта встреча, и тут же хлынул ливень.

И как долго они разглядывали друг друга, словно еще и еще раз нужно было им убедиться, что все это наяву; с каким

волнением вслушивались в забытые интонации, отмечали в движениях друг друга памятные жесты, а в речи — неповторимые словечки.

Как же он, Григорий Саввич, решился на такую дорогу, да еще в самое ненастье? А Сковорода только посмеивался. Что невозможно для любви? Для любви вся возможна суть!.. Где любовь, там и сила берется непонятно откуда. Вот, — уже извлекал он из своей котомки рукописные тетрадки, — вот, пусть глянет ка Михаил на этот простой рисуночек: мальчишка — колчан со стрелами на бедре — держит на плечах земной шар. Карапузик сей есть языческий амур, он же купидон, а по-нашему, любовь. Древние врут, будто Землю поддерживает великан Атлас. Силач никогда не удержит ее долго. Сила тут слаба. А вот маленький бог любви держит на плечах не только Землю — всю вселенную нашу. Только любовью она навеки удержится… Да, да, для любви вся возможна суть!

Ну как было не любить такого Сковороду! Еще не успел он обсохнуть с дороги, а уже парит на крыльях своей вдохновенной речи, как будто и не было десятилетий разлуки, и только вчера они выходили вместо из класса коллегиума…

Да, но что же Михаил, что с ним стряслось такое, что беспокоило его во все эти годы?

И тут Ковалинский наконец выплакался, полковник и кавалер двух орденов; выплакался и высказал все, что мог он высказать только одному в целом свете человеку.

И главным утешением для него были даже не слова Сковороды, а само его присутствие здесь — поистине чудесное присутствие в этом совершенно необязательном ни для одного ни для другого; Григорий Саввич привез с собою те из рукописных своих книжек, которых Михаил еще не знал, и теперь на каждый день у них установилось правило: старец читал вслух; останавливаясь, пояснял то или иное место, или отвечал на вопросы Михаила, «занимал его рассуждениями, правилами, понятиями, каковых ожидать должно от человека, искавшего истинны во всю жизнь не умствованием, но делом…».

Да, именно — и это теперь Ковалинский отчетливо видел — его учитель всегда искал истину делом, а не умствованием; и их нынешняя встреча, и все, что было до нее, — все это относилось к исканию истины самым непосредственным образом: Михаилу когда-то было показано два пути, которые тот, кто показал, сам уже проверил и указал ученику на один из них; и вот Михаил пошел и незаметно для себя стал сбиваться с этого пути на другой, то есть ему очень хотелось бы, чтобы можно было идти двумя путями сразу, а этого не получалось и не могло никак

получиться; и он в итоге сбился, с круга внутреннего сбился на круг внешний и летел по нему со смешанным чувством восторга и ужаса, пока сам, опять же делом, а не умствованием, не распознал, наконец, всего того, от чего предостерегал его Сковорода. Вот он и возвратился теперь, как блудный сын возвращается к долготерпеливому своему родителю; и тот принял его с радостью, и утешил, и ободрил, и вдохнул в него желание жить дальше. Сковорода его по голове погладил, своего Михаила, — вот главное, что произошло теперь между ними, в августе 1794 года, в селе Хотетове Орловской губернии.

В течение этого времени, когда они были вместе, происходили и другие события; и некоторые из них, казалось, происходили лишь для того, чтобы своей второстепенностью оттенить и подчеркнуть значительность события главного. Прослышав о том, что к новоселу Ковалинскому прибыл знаменитый Сковорода, в Хотетово стали наезжать гости. Так, некто, молодой человек из орловского губернского правления, явившись с визитом, сразу же решительно подступил к старцу:

— Григорий Саввич! Прошу полюбить меня.

Сковороду озадачил легкий и чересчур активный характер просьбы: будто это так просто — сразу взять и полюбить! Да и за что, например?

— Могу ли полюбить вас, я еще не знаю, — сдержанно ответил он.

Подошел другой гость:

— Я давно знаком с вами по сочинениям вашим, прошу доставить мне и личное знакомство…

От Сковороды не укрылось, что собеседник явно лгал, говоря о знакомстве с его сочинениями.

— Как вас зовут? — поинтересовался старец. Тот назвал себя.

Сковорода задумался, будто вспоминая что-то, потом проговорил:

— Имя ваше ие скоро ложится на мое сердце.

Гости отбыли, разочарованные его дикими ответами-загадками, да и вообще всем странным поведением слобожанской знаменитости. Поняли ли они, хоть с опозданием, что перед ними стоял тогда страшно опасный старик, который, несмотря на свою подслеповатость, сразу, с первого же взгляда, по первым же словам с проницательностью мудрого змия узнает, кто и зачем явился: по сердечной необходимой нужде или из праздного хотения?

Однажды Михаил поинтересовался: как долго Григорий Саввич предполагает пробыть у него? Ведь было бы замечательно, если бы Сковорода остался в Хотетове на осень и на зиму, да и

вообще обосновался здесь, как в собственном своем доме.

И тут старик сказал неожиданно и твердо: нет, скоро пора уходить.

Почему? Куда? Да и разумно ли идти куда бы то ни было в такую пору ему, хворому человеку, которого к тому же в последние дни все чаще мучает кашель?

Но Сковорода только покачивал головой: нет, пора. Он ведь затевает это не из каприза, он хочет уйти не потому, что ему вдруг стало плохо здесь, с Михаилом, а потому, что ему вообще уже пора уходить. Вот в этом и заключается все дело, что ему вообще уже пора уходить.

Ах, Григорий Саввич, как это похоже на тебя! Вот и опять заторопился, забеспокоился… Что ж поделаешь, если так тебе твой дух велит.

Накануне расставания Сковорода передал Ковалевскому содержимое своей походной торбы — все рукописи до единой. Пускай они сохраняются у Михаила. У кого еще они так хорошо сохранятся?

Это был не просто драгоценный подарок учителя ученику; в таком решении старца обнаруживал себя особый смысл, грустный и значительный. Сковорода внутренне уже подготавливал себя к тому, что ничего не должно у него остаться, совершенно ничего — кроме рубашки, в которой его тело положат в землю.

Поэтому и в День отъезда, когда Михаил предложил ему денег на дорогу, Григорий Саввич и от денег отказался. И никогда-то он не беспокоился, чтоб они были у него в достаточном количестве, а теперь и тем более не хочет себя обременять. Если целую жизнь прожил он с надеждою на ежедневное дарование насущного хлеба, то неужели теперь эта надежда его обманет?

26 августа они расстались. Обнимая на прощание Ковалинского, Григорий Саввич сказал: «Может быть больше я уже не увижу тебя. Прости! Помни всегда во всех приключениях твоих в жизни то, что мы часто говорили: свет и тьма, глава и хвост, добро и зло, вечность и время».

Они действительно больше уже не увиделись.

«Гляньте, люди добри, старчик йде», — говорили в былые времена на Украине. И это говорили не просто о любом старике, потому что мало ли сивых дидов ходит из села в село по житейским своим надобностям. Одно дело дид, или, как его называют, старый, дидок, дидуся, дидуга, и совсем другое дело — старчик. Дидов своих любили — за их детскую тихость и незлобивость, дид — он что дитятко; кто-нибудь спросит его о здоровье, и он отвечает нараспев: «Та-а, плохесенько…» Слово

звучит непривычно ласково, будто, произнося его, он озабочен лишь тем, как бы не расстроить собеседника.

Но старчик — это особый дид, старчиком далеко не всякого старика называют. В этом слове характеристика мощи ума, сердечного опыта. Старчик — мудрый странствующий человек, присутствие которого преображает всякий разговор, где бы ни затеяли его люди, — в придорожной корчме, у степного костра на ночевье, в хате какой-нибудь… Своих старчиков узнавали в лицо и низко им кланялись, как живому образу премудрости.

«Гляньте, та це ж старчик Григорий йде!..»

Старчик Григорий возвращался теперь домой. Добравшись по ливенскому шляху до Курска, он несколько дней, пережидая непогоду, прожил в городском монастыре, опекаемый архимандритом отцом Амвросием; но лишь дождевая завеса пошла рваться на клоки, лишь засверкали под солнцем зловещие, изуродованные колеями дороги, он захлопотал, засуетился и, распрощавшись со своим доброжелателем еще спешнее, чем недавно с Михаилом, ушел.

Как бы курский монах теперь не обиделся на него! Вздорный, скажет, строптивый старикан, и куда полез в самое болото? А может, и не обиделся, принял это исчезновение спокойно: ушел человек — значит, так нужно ему. Значит, так написано у него на роду — вдруг появляться, вдруг исчезать.

Кто его любит и знает, те не обидятся. Ведь случалось, на год, на два, на пять мог он исчезнуть из жизни милых ему людей, раствориться в горячей пыли степных дорог, в безмолвном мареве малороссийского полдня, а потом объявится снова все тем же загорелым, словоохотливым и любвеобильным гостем, — и так было уже не раз, не два и не пять. Кажется, нет его больше на свете, пропал, сгинул, весь вышел Сковорода, рассохлась и память о нем. Но нет, молва о нем шелестит, как шелестит под ветром сухой цветок бессмертник. А пока молва жива, жив и сам старчик.

Вот идет он по дороге, как не узнать его! Высокий и тощий, с длинной морщинистой шеей; быстрый взгляд, тонкий византийский нос, плотно сжатые губы, крепкий бритый подбородок — до старости сохранил Григорий Саввич верность облику киевского «академика», безусого и безбородого, с головою, подстриженной в кружок. Таким видели его сотни людей, таким изобразил его незадолго до кончины харьковский художник на том единственном прижизненном портрете, с которого впоследствии сделано было великое множество масляных копий и гравированных изображений: в руке у Сковороды его любимое творение — «Алфавит, или букварь мира», а за вязаный цветной пояс заткнута дудочка. (К сожалению, на некоторых из копий

прошлого века он стал почти неузнаваем: лицо округлилось, рот маленький и капризный, мечтательный взгляд и неопределенный возраст.)

…Стояла вторая половина сентября — обратная дорога заняла у Сковороды почти месяц, — когда возвратился он в Ивановку, в одноэтажный дом с ампирными колоннами, в котором жил Андрей Иванович Ковалевский и в котором гостю была предоставлена небольшая комнатка с окном в парк.

Четыре года назад, когда он впервые посетил Ивановку, село это своим местоположением удивительно напомнило ему родные Чернухи. «Земелька его есть нагорная. Лесами, садами, холмами, источниками распещренна. На таком месте я родился возле Лубен».

Ивановка действительно очень красивое село, одно из живописнейших на Харьковщине. Помещичий дом стоит на склоне балки, ниже его парк, спускающийся к пруду. Среди деревьев тут возвышается громадный дуб, в тени которого старчик часто сиживал. Пруд через греблю сообщается с другим, еще большим, за которым — лес. Противоположный берег крутой, там за вершину балки каждый день опускается солнце.

Долго шел Григорий Саввич, шел под ливнями и в метели, видел смерч и радугу; вот и добрел, наконец к самому краю земли, за которым — уже неизвестно что. Боялся ли он смерти? Страх смерти, говорил он недавно Михаилу, сильнее всего нападает на человека к старости его. Нужно заблаговременно вооружиться против этого врага, не умствованием, потому что оно тут не помощник, а мирным расположением своей воли к тому, что рано или поздно должно произойти с каждым. Этот душевный мир приготовляется в человеке постепенно; тихо и тайно растет и усиливается в сердце особое чувство — чувство того, что он исполнил обращенный к нему завет матери-природы: «Сие чувство есть венец жизни и дверь бессмертия».

Однажды — так повествует предание — больной уже старец вышел из своей комнаты, и его долго не могли найти, пока хозяин дома не обнаружил Сковороду в отдаленном углу парка за непонятным занятием: тот копал землю заступом. «Что это, друг Григорий, чем это ты занят?..» — «Пора, друг, кончить странствие!» — ответил Сковорода.

Он ходил и прощался со всем. В последний раз опускалось перед ним усталое земное светило; шелестела вокруг листва, прах и пепел. И ветряк, словно образ мимоидущего людского времени, в последний раз махал ему деревянными руками.

За несколько дней до кончины он попросил, чтобы над его могилой сделали надпись: «Мир ловил меня, но не поймал». 29

октября 1794 года по старому стилю утром, на рассвете, исполнив все «по уставу обрядному», Григорий Саввич Сковорода тихо и спокойно расстался со своим старым «тельником».

Косная материя приняла человеческую персть в свой глухонемой круг. Что ж, всему есть предел — жизни, книге, песне. Только у души человеческой нет предела.

И потому скажем, вспоминая своего Григория Саввича:

Радуйся, смерть презревший и жизни вечной вкусивший!

Радуйся и ты с ним и с нами, черная земля, щедрая земля, дорога бесконечная, Родина древняя!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

февраля 1795 года в своем деревенском уединении Михаил Ковалинский дописал последнюю строку биографии покойного учителя. После этого он недолго прожил в Хотетове. Возвратившись в столицу, вскоре получил назначение губернатором в Рязань, а в начале нового века мы встречаем его фамилию в списке кураторов Московского университета. Рукописи Сковороды Ковалинский постоянно возил с собой. Размножаясь в копиях, они постепенпо становились достоянием столичных читателей. Большие рукописные коллекции стихотворений и диалогов Сковороды в это же время складываются и на Слобожанщине.

В 1798 году в Петербурге издательством Академии наук была выпущена в свет небольшого формата киша под названием «Библиотека духовная, содержащая в себе дружеский беседы о познании самого себя». Среди сочинений иных лиц здесь впервые опубликованы большие фрагменты из диалога Сковороды «Наркисс», хотя не указано ни название сочинения, ни имя автора.

Почти тридцать лёт спустя в Москве было издано сразу несколько сочинений Сковороды: «Басни Харьковский», «Беседа двое», «Дружеский разговор о душевном мире», «Убогий жайворонок» и «Брань архистратига Михаила со сатаною». Первый сборник сочинений народного философа, очень неполный по составу и в то же время включающий в себя некоторые тексты, не принадлежащие Сковороде, опубликован в 1861 году в Петербурге.

К столетию со дня кончины мыслителя, в 1894 году, в Харькове под редакцией крупнейшего дореволюционного исследователя творчества Сковороды профессора Дмитрия Багалея был выпущен в свет однотомник сочинений мыслителя, который можно назвать первым научным изданием его трудов.

Эта дата является как бы порубежной: отныне наследие философа, не прекращая окончательно своего фольклорного бытования, перестает быть достоянием узкого круга библиофилов и любителей-коллекционеров и делается объектом пристального внимания со стороны писательской, культурной и научной общественности Украины и России.

Одним из первых на выход в свет юбилейного издания откликнулся Иван Франко, назвавший Сковороду самым крупным профессиональным поэтом в старорусской и украинской литературе на громадном историческом пространстве — от

«Слова о полку Игореве» до Котляревского и Шевченко. В эти же годы высокую оценку творениям Сковороды дали Лев Толстой, Максим Горький и Михаил Коцюбинский.

Незадолго до революции изучением личности и творчества украинского мыслителя занялся В. Бонч-Бруевич, предпринявший новое, расширенное издание философских работ Сковороды (вышел только первый том).

В советский период на Украине началась широкая пропаганда творческого наследия мыслителя, вышло большое количество популярных статей и брошюр с подчеркнутым вниманием к народным истокам его мировоззрения. Одновременно продолжалась настойчивая работа по разысканию и публикации рукописей Сковороды и документов, содержащих новые биографические сведения о философе и его современниках. Эта исследовательская работа в 1961 году завершилась выходом в свет академического двухтомного собрания сочинений Г. С. Сковороды под редакцией А. Белецкого, Д. Остряница и Н. Попова. В двухтомнике впервые увидели свет все известные к тому времени произведения философа, издание отличалось не только полнотой охвата творческого наследия мыслителя, но и скрупулезной выверенностыо текстов, обилием справочно-вспомогательных материалов.

Однако и сегодня еще нельзя сказать, что работа над разысканием тех сочинений Сковороды, которые прежде считались утерянными, полностью завершена; в 1971 году в киевском журнале «Філософська думка» были опубликованы два новонайденных его диалога, обнародование которых стало не только крупным событием в научном мире, но и подтвердило необходимость дальнейших поисков, возможность новых интересных находок.

В целом же в деле разыскания и публикации сковородинских текстов последние десятилетия дали большие результаты, чего, к сожалению, нельзя сказать о работах, которые ведутся в биографическом плане. Уровень этих работ оставляет желать много лучшего: из книги в книгу, как правило, перекочевывают одни и те же фактические данные, многие из которых нуждаются в проверке и уточнении. Поражает обилие полулегендарных и полностью легендарных «данных», подчас достаточно примитивной выделки, которые, попадая в книги биографического плана, выдаются за вполне достоверные свидетельства о жизни и деятельности философа. Создание подлинно научного свода биографических материалов о нем все еще остается нерешенной проблемой.

О том, насколько плодотворным может быть дальнейшее

детальное изучение эпохи, в которую жил и творил мыслитель, свидетельствует опубликованный в 1970 году труд харьковской исследовательницы А. М. Ниженец, открывающий многие малоизвестные страницы слобожанского периода деятельности Сковороды, хотя и не лишенный некоторых спорных утверждений.

В повести Тараса Шевченко «Близнецы» есть образ старого сотника Никифора Сокиры; в юности Сокира был близко знаком с Григорием Сковородой и с тех пор всю жизнь находился под обаянием личности странствующего философа: жил на хуторе в окружении природы, сам трудился как хлебороб и пасечник, а досуг посвящал чтению в подлинниках Гомера и Вергилия.

На Украине среди сельских жителей еще и сегодня можно услышать рассказы о людях, которые жили «як Грщько Сковорода», и образ старого Сокиры свидетельствует о пристальном внимании автора к тем живым следам, которые остались в народной памяти о философе-старчике. Но упоминание о Сковороде в повести имеет для Шевченко еще и другое значение: рядом со Сковородой— легендарным старчиком в «Близнецах» незримо присутствует и Сковорода — мыслитель, педагог. Его присутствие — на это уже было обращено внимание исследователей — обнаруживается во всей композиции повести, посвященной воспитанию и несходным судьбам двух братьев, один из которых жил, так сказать, по «закону сродности», а другой оказался уловлен «светом» и погиб в его сетях. «Сковородинский» мотив здесь достаточно очевиден, чтобы можно было говорить о Шевченко как о внимательном читателе «педагогических» диалогов философа «Благодарный Еродий» и «Убогий жайворонок».

Следы пристального внимания к идеям и образам Сковороды обнаруживаются и в произведениях многих других украинских и русских писателей прошлого века. Но дело не только в очевидных заимствованиях из его сочинений или в непосредственных откликах на них. Так, поиск «истинного» человека, составляющий одну из основных тем философа, явственно и сильно зазвучал в многоплановых и еще по достоинству не оцененных этических размышлениях позднего Гоголя, который иногда почти «цитирует» Сковороду, говоря о значении творческого самопознания.

Еще об одной внутренней перекличке подобного типа сообщает в своем недавнем исследовании о Достоевском В. Бурсов (речь идет о значении, которое и Сковорода и Достоевский придавали человеческому сердцу как средоточию нравственной жизни личности). К этому наблюдению можно добавить, что

мыслителей сближала не только «сердечная» тема. Вполне очевидная близость обнаруживается, например, и в представлениях того и другого о свободной воле человека: вспомним образ «воли-бездны» у Сковороды и тему духовного подполья у Достоевского, выражающуюся в том, что человек хочет «по своей глупой воле пожить».

Тот факт, что призыв философа «глянь в сердечный пещеры!» так отчетливо зазвучал в творчестве мыслителей иной эпохи, есть не только свидетельство неотменяемой актуальности морально-этических проблем. Этот факт позволяет лучше разглядеть, какой именно тип мыслителя явлен нам в личности Сковороды. Проблемы этического порядка — вот что составляет неизменный пафос его творчества. Круг нравственных идей, в центре которых стоит человек, созидающий свое личностное отношение к миру, свое «сродное» жизненное дело, — вот в чем проявляет себя этот весьма распространенный в русской общественной мысли на разных этапах ее становления тип философской деятельности.

В то же время в творческом наследии мыслителя очень многое может не удовлетворить современного читателя, показаться ему историческим анахронизмом. Диалог современного читателя с философом XVIII века, действительно, весьма непрост, в ходе этого диалога может возникнуть масса претензий: того-то философ не выразил, о том-то умолчал, о том-то сказал совсем не так, как бы нам хотелось. Но в подобной ситуации нужно еще и еще раз вспомнить известные слова В. И. Ленина: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками».

Поиски и открытия Сковороды время не сделало философским анахронизмом: он очень многое говорит и еще может сказать нашему современнику, творцу но только материальных благ, но и создателю духовных ценностей. Духовные ценности, так же как и материальные приобретения, не появляются из ничего, у них должна быть своя почва.

Философия Григория Сковороды апеллирует к идеальным возможностям человеческого существования. Это поистине «сердечная философия», раскрытая навстречу человеку, его судьбе. Вот почему в личности мыслителя мы узнаем и любим черты того народного мудреца-правдолюбца, о котором веками мечтал народ, как о своем советователе и помощнике, заступнике, но иногда и строгом судье, как о выразителе надежд и чаяний трудящегося человека.

Сковорода нес в народ Слово о счастье для каждого и для

всех. Вот почему его творческое наследие было и остается великим национальным достоянием украинского и русского народов.

Основные даты жизни и творчества Г. С. Сковороды

1722, 3 декабря — Рождение Григория Саввича Сковороды в селе Чернухи Лубянской округи Киевского наместничества.

1738, сентябрь — Григорий Сковорода поступает на учение в Киево-Могилянскую академию.

1742 — В Малороссию для набора голосов послан придворный певчий Гаврила Матвеев. Сковорода принят в придворную капеллу.

1744, июль, август — В поезде Елизаветы Петровны, совершающей путешествие в Малороссию, Сковорода возвращается в Киев и продолжает учебу в Академии.

1745 — В ревизской книге (из архива Малороссийской коллегии) за этот год в селе Чернухи значится «двор Пелагеи Сковородихи, сын которой, Григорий, обретался в певчих». Следовательно, в 1745 году Саввы Сковороды, отца Григория, уже не было в живых.

1747, 7 октября — Похороны в Киево-Братском монастыре паломника Василия Григоровича-Барского.

1750 — В составе особой команды, под началом полковника Гавриила Вишневского, Сковорода отбывает из Киева в Венгрию, «к Токайским садам».

2753 _ Возвращение из заграничного странствия.

1753, 1 июля — Вступление на епископскую кафедру в городе Переяславе Иоанна Козловича, послужившее поводом для первого датированного стихотворения Сковороды.

1753–1754 — Время написания трактата «Рассуждение о поэзии и руководство к искусству оной».

1754 — Отстранение учителя пиитики Григория Сковороды от должности в Переяславской семинарии. Помещик Степан Томара нанимает Григория в качестве домашнего учителя в свое имение Каврай.

1755 — Путешествие Сковороды в Москву и пребывание в Троице-Сергиевой лавре.

1755–1758 — Вторичное жительство в селе Каврай у Степана Тамары.

1759 — Григорий Сковорода приглашен на должность учителя поэзии в Харьковском коллегиуме.

1760, лето — Размолвка с архимандритом Гервасием и уход из коллегиума.

1760–1761 — Пребывание Сковороды в селе Старица.

1761, лето — Возвращение в Харьковский коллегиум и знакомство с Михаилом Коваленским.

1761–1764 — Сковорода — учитель синтаксиса и греческого языка в коллегиуме.

1764, август — Поездка с Михаилом Коваленским в Киев.

Осень — Григорий Саввич Сковорода вторично оставляет стены коллегиума.

1766 — Составление лекции «Начальная дверь ко христианскому добронравию». В этом же году, уединясь в гужвинском лесу, в окрестностях Харькова, Сковорода сочиняет свой первый философский диалог «Наркисс».

1767 — Дата написания диалога «Асхань».

Июнь — пребывание в куряжском Преображенском монастыре.

1768–1769 — Сковорода преподает катехизис в прибавочных классах при Харьковском коллегиуме.

1769 — Копец преподавательской деятельности в Харькове и начало страннического периода в жизни Григория Саввича Сковороды.

1770 — Последнее посещение Киева. Сковорода три месяца живет в Китаевой пустыни, откуда перебирается в ахтырский Троицкий монастырь. 1772 — Написан «Разглагол о древнем мире». Вслед за ним — «Разговор пяти путников о истинном щастии в жизни».

1774 — С начала этого года Сковорода живет в селе Бабаи, в окрестностях Харькова, к лету им дописаны «Басни Харьковскня»; здесь же завершен диалог «Кольцо». 1775, 1 января — Григорий Саввич посвящает В. С. Тевяшову свою новую работу — диалог «Алфавит, пли букварь мира».

1775 — Встреча Сковороды с Михаилом Коваленским, вернувшимся из заграничной поездки.

1776 — Дата написания трактата «Икона Алкивиадская». 1781 — Путешествие Г. С. Сковороды в Таганрог.

1783 — В Бабаях Григорий Саввич завершает работу над диалогом «Брань архистратига Михаила со сатаною».

1783–1785 — В этот период написаны три работы: «Беседа 1, нареченная Обсерваториум»; «Беседа 2, нареченная Обсерваториум specula»; диалог «Пря бесу с Варсавою».

1785–1790 — В эти годы Сковорода живет преимущественно в селах Гусинка, Маначиновка и Великий Бурлук.

1787, ноябрь — Посвящение диалога «Убогий жайворонок» Федору Дискому. В этом же году написан второй педагогический диалог Г. С. Сковороды — «Благодарный Ородий».

1790, 13 апреля — Сковорода дарит Я. М. Доуцу-

Захаржевскому «Книжечку Плутархову о спокойствии души». 26 сентября — Письмо М. Коваленскому, в котором Григорий Саввич сообщает о новом своем местожительстве — в селе Ивановка.

1791 — Сковорода посвящает Ковалѣнскому свой последний философский диалог «Потоп Змиин», написапный в конце восьмидесятых годов.

1792 — Весь год Григорий Саввич снова живет в Гусинке.

1794 — Весной этого года в Ивановке художник Лукьянов пишет портрет Г. С. Сковороды.

Август — встреча Григория Саввича с Коваленским в орловском имении последнего — селе Хотетове. 26 августа — «Отправился он в путь из села Хотетова в Украину».

Сентябрь — Возвращение в Ивановку.

29 октября — Григорий Саввич Сковорода скончался в селе Ивановка, завещав написать на его надгробии: «Мир ловил меня, но не поймал».

Краткая библиография

Сочинения в стихах и прозе Сковороды. Спб., Изд. Лисенкова, 1861

Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем. Юбилейное издание (1794–1894 гг.). Х., 1894.

Собрание сочинений. Т. 1. С биографией Г. С. Сковороды М. И. Коваленского, с заметками и примечаниями В. Д. Бонч-Бруевича. Спб., 1912.

Твори. В 2-х томах. Вид-во Акад. паук УРСР, К., 1961.

Невідомі твори Г. С. Сковороди. Наукові публикації і повідомлення. «Фіософська думка». К., № 5, 6 1971.

Ковалинский М., Жизнь Григория Сковороды. Первое издание — журн. «Киевская старина», 1888, № 9. Биография публиковалась также в изданиях сочинений Г. Сковороды 1894, 1912, 1961 гг.

Гесс де Кальве Г., Вернет И., Сковорода, украинский философ. «Украинский вестник», ч. 6, 1817.

Срезневский И. И., Отрывки из записок о старце Григории Сковороде. «Утренняя звезда», кн. 1, Х., 1834.

Хиждеу Л., Григорий Варсава Сковорода. «Телескоп», ч. 26, № 5, 1835.

Данилевский Г. П., Сковорода, украинский деятель XVIII века. «Основа», 1862, № 8.

Багалеи Д., Вступительная статья к юбилейному изданию сочинений Г. С. Сковороды. Х., 1894.

Ефименко А. Я., Личность Г. С. Сковороды как мыслителя. «Вопросы философии и психологии». М., ноябрь 1894.

Эрн В. Ф., Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912.

Багаліи Д. И., Украшський мандрованний филсософ Г. С. Сковорода. Х., Держвидав Украши, 1926.

Попов П. М., Григорій Сковорода. Життя і творчисть. К., 1960.

Редько М., Світогляд Г. С. Сковороди. Львів, 1967.

Ніженець А. М., На зламі двох світів. Х., 1970.

Григорій Сковорода. Бібібліографія. Х., 1968.

Иваньо И. В., Сковорода, Григорий Саввич. Философская энциклопедия, т. 5. М., 1970.

Махновець Л… Про хронологию листів Сковороди. «Радянське літературознавство», К., 1972, № 4.